

Николай Владимирович Блохин

ГЛУБЬ-ТРЯСИНА

Роман

Часть первая

МОНАСТЫРЬ

Погоня отстала и выстрелы прекратились, но поручик Дронов бежал и бежал, и ветки кустов и деревьев нещадно хлестали его по лицу и по голому телу сквозь порванный мундир. Убежать – значило жить, и он мчался сквозь лес, пока совсем не выдохся. Обхватив обеими руками березу, он прислонился к ней в изнеможении. Страшно кололо в боку, нечем было дышать, ноги не держали. Когда чуть отпустило, он прислушался. Тихо. Он оттолкнулся от березы и, шатаясь, пошел прямо, где светлело. Что-то цветное запестрело сквозь лесную зелень.

Впереди был то ли конец леса, то ли большая поляна. Но что там пестрит? Он остановился. Конечно, нужно как можно быстрее уходить отсюда, они не смирятся с его побегом и обязательно прочешут все окрестности, но также нужно отлежаться и отоспаться, силы совершенно иссякли. Нужно было решать: уходить ли в сторону, не рискуя приближаться к опушке, упасть ли на месте, хоть вон под той елкой, и заснуть, или все-таки выяснить, что там впереди. Поручик выбрал последнее и, к немалому своему удивлению, обнаружил вскоре, что перед ним, метрах в ста от лесной опушки, стоит монастырь, окруженный высокой каменной стеной.

Недели три уже, как он скитался по этим местам с остатками добровольческого полка, пока вчера их совсем не добили, и не слышал, чтобы в районе этого леса был монастырь. Понятно, – что занят большевиками, и уж наверняка они под что-нибудь свое давно его приспособили. И как только он так подумал, лязгнула и открылась небольшая железная дверь в стене и из нее вышел маленький старый монашек. С трудом согнувшись, он стал собирать, выдергивать растущий рядом лук. Зоркие молодые глаза Дронова точно углядели, что это – лук. Девственная тишина царила кругом, и из-за стен ни звука не доносилось. И вдруг, будто испарились враз в нем осторожность и здравый смысл, он встал, раздвинул еловые ветви и пошел к железной дверке в стене. Он и сам бы не объяснил себе, кто, из каких глубин сознания скомандовал ему так – иди, там свои. Быть может, просто отчаяние взыграло: а! будь, что будет! – ведь не было у него сил снова углубляться в лес и обходить этот монастырь. Как совсем недавно дикая жажда жизни и страх смерти несли его сквозь бурелом, от пуль уворачивали, так сейчас это вдруг вступившее «будь что будет» вело его к монастырской стене. Монах перестал рвать лук и, неподвижно стоя, смотрел на приближившегося поручика. «Сейчас выскочат из двери краснoperые и – все... И хоть одного даже задушить не смогу, сил нет...»

— Мир тебе, добрый человек, — услышал тут поручик тоненький старчий голосок. — Вырвался и слава Богу, здесь тебя не обидят. Эк на тебе порвато-то все... Ну да жив зато...

— Кто здесь? — спросил поручик и не узнал своего голоса.

— Монахи, милок, монахи, монастырь ведь. Ну и гости горемычные, вроде тебя. Да проходи ты.

— За мной гонятся. И сюда придут.

— Да пусть себе гонятся. А сюда не придут. Отгонялись. Иди, иди, картошечки сейчас вот с лучком пожаренным отведаешь, иди.

И монашек легко подтолкнул Дронова в спину. Тот вздохнул и шагнул в дверь. Едва дверь захлопнулась, он повернулся к монаху и, пристально на него глядя, спросил:

— Спрячете меня?

Старичок улыбнулся:

— Да в том нужды нет, милок, прятать-то тебя. Туточки свои все, а до монастыря погонялам-то твоим не добраться — молитвами отца Спиридона, да продлит Господь время его. — Монашек истово перекрестился.

— Какого Спиридона?

— Да настоятеля нашего и хранителя, строителя монастыря сего, молитвенника великого за нас, грешных. Да проходи ты, вот сюда, келейка тут, посиди, оттай, сейчас угощу тебя...

И тут Дронов увидел прямо перед собой человека в форме... с полковничими погонами.

— Нашего полку прибыло, — с улыбкой сказал человек. — Лихо вас потрапало.

Дронов молча, с удивлением и недоверием глядел на человека.

Тот улыбнулся еще шире.

— Позвольте представиться. Полковник Ивлев Иван Семеныч. Бывший командир 13-го добровольческого полка.

— Наш соседний полк!.. Простите, ваше превосходительство...

— Оставьте, оставьте это «превосходительство», нет больше никакого «превосходительства», есть Иван Семеныч. Как вас величать?

— Поручик Дронов, ваше... Прошу прощения... Дронов Александр Дмитрич.

— Ну и преотлично. Ступайте-ка, действительно, подкрепитесь, я через полчасика зайду. М-да... лихо вас ободрали, и переодеть-то здесь вас не во что, все

есть, а вот одежды нет, ну да Оля-большая заштопает, как вот меня. Тут все штопанные.

Поручик доедал картошку и пытался сообразить, что бы все это значило, но только одни вопросы, без ответов, громоздились в его голове.

— Подкрепились? — в дверях келейки появился улыбающийся полковник. — Ну а теперь пойдемте на стену. Прогуляемся.

Дронов осталенел, когда увидел открывшуюся с монастырской стены картину: в двух сотнях шагов от стены, в ложбине между речкой и ореховым кустарником, расположилась деревня, дворов в сто пятьдесят. В деревне гудело, гомонило, передвигалось множество людей в красноармейской форме, с краснозвездными иерихонками на головах. «Не меньше полнокровного полка», — прикинул Дронов. И никакого внимания со стороны копошащихся там к монастырю. Долго глядел поручик, шаря настороженно-удивленными глазами по деревне, и наконец спросил:

— Так эта сволочь нас в самом деле не видит?

— В самом деле, — сказал полковник. Он задумчиво и в то же время как-то спокойно-равнодушно глядел на копошение в деревне. Все было как на ладони.

— Но этого не может быть, — пробормотал поручик.

— Может, как видите.

— Но... Как же это?

— Говорят, чудеса старца Спиридона, — полковник пожал плечами. — Больше добавить нечего. Я привык. А по началу — как и вас — дрожь меня пробирала.

— А... а что же они видят, когда сюда смотрят?

— Трясину. Болото. И марево над болотом. Да здесь, говорят, и было всегда болото. Глубь-трясина — так все в округе зовут это место.

— Слышал, — чуть слышно прошептал Дронов. — А откуда вы знаете, что они видят?

— Да от них же, — полковник махнул рукой на деревню. — Во-он тот дом, от усадьбы третий, видите? Я ведь оттуда сюда прибыл... Окно зарешеченное... Вот за этим окном я и сидел. Там у них особый отдел, чекушка дивизионная, и штаб дивизии тут же. Здесь ведь дивизия стоит. И справа, и слева, и сзади, в лесу и за лесом, — все войска их.

— А мы в центре как невидимки?

— Да. И без всякого «как»! Ну так вот, сижу я за тем окошком да думаю — и чего ж это они штаб в монастыре том не разместили, да и вообще, вижу, никакого

движения ни туда, ни оттуда. Звон колокольный слышу, монахов вижу, и опять же, думаю, все храмы в округе разорены, Митрофаньевский монастырь трупами набили, а тут целехонький монастырь стоит, в колокола звонит! Ну у часового и спрашиваю – в чем тут дело? Думаю, наорет сейчас или чего похуже, секреты-де пытаешь... А мне, Александр Дмитрич, сами понимаете, не до секретов, к смерти я уже приготовился... Впрочем, можно ли к ней приготовиться?.. Ну вот, а часовой ослабился этак по–пролетарски да пальцами у виска покрутил. Тронулся, говорит, от переживаний, твое превосходительство, твою буржуйскую мать... Какой монастырь, говорит, твои полковничьи буржуйские бельмы там узрели? Там, говорит, болото, трясины жуткая, а не монастырь!.. И далее он начинает крыть того дурака, что в таком гиблом месте деревню удумал построить, от комаров житья нету... А комаров у них там и в самом деле прорва!.. Нигде столько не видел. Ну не стал я больше раздражать своего стражника, таращусь на монастырь, гляжу на воинство их, что под окном моим шатается, да думаю, что бы это все значило? Продумал я так день, а как вывели меня, чтоб на допрос вести, сказал я про себя: «Господи, благослови!» – да прямо на стражника и бросился, дал ему в челюсть, и что есть духу – к монастырю. За мной, естественно, погоня, слышу за спиной: «Не стреляй, не стреляй!», и истощное, начальственное: «Догна-а-ать! Утонет, гад!..» А я, не чуя ног, бегу и слышу вдруг: «Провалился, гад!» – и далее плевки и матерщина, и вроде не бегут дальше. А я, как снаряд, в ворота бухнулся, вот в эти, под нами, и давай колотить ногами и руками; открывает мне тот же старичок, что и вам, я ломлюсь сквозь него, с ног сбил, вбежал и – растерялся, не знаю, что и делать дальше; старичок поднялся, вижу – спокоен, улыбается, на стене некто штатский стоит, яблоко грызет и вдальглядит. «Не пугайтесь, – говорит старичок мне, – мы для сих врагов Христовых невидимы, вы в надежном убежище...» Вот. Так и оказался здесь.

– Однако что же это значит?.. – сказал поручик. – Я реалист, знаете ли.

– Ну а раз вы реалист и доверяете своим чувствам, то вот она реальность, вон они и вот мы, и они нас не видят и не слышат. Вот! А вы небось о прорыве сейчас подумали? Я тоже поначалу думал, но прорываться тут некуда. Арсенальчик тут есть небольшой... Но пули пропадают куда-то, я прицельно из трехлинейки как раз вот отсюда стрелял, а стреляю я сносно, так будто холостыми... Можно, конечно, налеты на них делать и исчезать как призраки, но монахи против, отец Спиридон не благословляет.

– Почему?

– На пролитие крови отсюда выходить не должны – так отец Спиридон говорит.

– Да ее уже столько пролито. Не мы ее лить начали! Что ж, терпеть их, что ли? Здесь отсиживаться? Доколе?

— Простите, Александр Дмитрия, получилось — подзуживал я вас, оставьте пока ваши воинственные мысли. Час назад вы через лес от пуль бежали и уж наверняка с жизнью распрощались. И вот теперь вы чудом живы. Остыньте. Кто его знает, как еще тут сложится.

— Что вы имеете в виду?

— Да невидимками-то мы для них не вечно будем. Монахи говорят, что как отец Спиридон умрет, так и чудо кончится. А он, в общем-то, плох. Ему, говорят, под сто лет. А может быть и за сто.

— Интересно, как они отреагируют, когда среди их стана монастырь из воздуха появится...

— Да уж долго созерцать не будут.

— Так, может, и не ждать того времени, может, просочимся как-нибудь?

— Некуда просачиваться, я уже сказал. Да и незачем. А ждать не надо, жить надо, ничего не ожидая. Эк вы грозно глянули, поручик.

— Нет, ваше превосходительство, что вы!

— Да чего уж там «нет». Да, скажу вам, воинственный пыл тут у меня спал. Даже нет, не то... Вот выйдешь на стену, глянешь на галденье вон там новых властителей...

— Они еще не властители!

— Не перебивайте по пустякам, Александр Дмитрич, увы! — они властители, правде надо смотреть в глаза, здесь эта правда особо чувствуется... Вы, небось, сейчас подумали, что уж если командиры так расслабились, значит — армии конец. Да, конец. Ей давно конец. Драться нужно было, но все мы были обречены... тогда уже стали обречены, когда отречение совершилось, когда мы, люди русские, от помазанника Божия, а значит и от Бога отреклись. Так мне отец Спиридон сказал, и теперь я верю, что это так.

— Так зачем же тогда вообще драться, коли обречены?

— Мой вопрос. Я тоже спрашивал. «А затем, чтоб малым страданьем сим у Бога прощение получить», — так сказал отец Спиридон. Да... Так вот, глянешь туда, — полковник махнул рукой в сторону деревни, — и так вдруг сердце защемит... аж в слезы!.. и какая-то странная смесь на душе тоски и умиротворенности, да-да, именно тоски и умиротворенности. Не смогу я вам объяснить, поручик... стою ведь я... мы с вами вот сейчас стоим!.. под явным покровом Божиим... стою во плоти, не во сне, гляжу на врага, невидим и неощутим для него, и враг этот, — враг же моего Бога, распростершего надо мной Свой покров невидимости и... никакой враждебности к врагу этому, никакого желания бить его не чувствую.

– Пусть нас бьют?

Полковник вроде мимо ушей пропустил эту реплику-вопрос и задумчиво продолжал:

– Я обо всей своей мешанине, страшной, душевной, спрашивал у отца Спиридона, и он сказал мне, что у меня жалость к погибающим.

– Вон к тем, что ли?

– Да, и к тем. И к себе. Ибо спасение мое весьма проблематично, как сказал бы профессор Карелин, – вы еще познакомитесь с ним... И к вам, хоть и не знал я вас до сегодняшнего дня, и к тем, кто рядом с вами сражался, и к тем, кто сражался против вас, а значит, и против меня... Так мне все это объяснил отец Спиридон и добавил, что как только оборю я в себе ненависть к этим, – полковник кивнул в сторону деревни, – так и тоска исчезнет, одна умиротворенность останется. Я ему говорю: «Отче, я не монах, я – воин». А он отвечает: «Ты – монах (я, значит), а полковник ты по недоразумению». Вот... А ведь жизнь уже прожил, и всю жизнь – в мундире. И выходит не жизнь, а недоразумение.

– Да мало ли что он наговорит! – запальчиво воскликнул поручик.

Полковник улыбнулся. Он положил руку на плечо Дронова и, глядя ему прямо в глаза, сказал:

– Александр Дмитрич, то, что говорит чудотворец, вас от смерти спасший, является истиной непреложной. Если, конечно, вы реалист, коим себя объявили.

– Вообще-то оторопь берет от всего этого, – сказал Дронов, оглядывая монастырь, небо и окрестности, кишмя кишевшие красными, которые не видели ни монастыря, ни поручика Дронова на стене.

– Но ведь это невозможно, черт подери! Невозможно! – и Дронов прямо-таки отчаянно взмахнул руками, будто что-то стряхивая с них.

– Однако странный вы реалист, – сказал полковник, – вы так выкрикиваете «невозможно», словно поддержки у кого-то просите, словно легче вам станет, если вам скажут – да, невозможно, обман зрения. А ведь и вправду обман зрения, а? У тех вон... Вы верите в Бога, поручик?

– Да как вам сказать...

– Благодарю вас, вы как раз все сказали. Когда меня тот старичок, что мне и вам двери открывал, вот так вот спросил, я ему точно так же тогда ответил, как вот вы сейчас. Эх, Александр Дмитрич, а быть может, для нас с вами вся эта смута, усобица подлая для того только, чтобы, на этой стене стоя и видя проявление силы Божьей, поверили б мы наконец в Него, а?

Ударил колокол. Дронов вздрогнул всем телом, страх моментально пронзил его — сейчас всколыхнется вся эта красная орда, услышав гул, узрит их остров спасения, узрит и поручика Дронова на стене и — попрет сюда. И уже никакое чудо не спасет... Но все осталось как было. Никого не всколыхнул колокольный звон, а ведь могуче звонил колокол, верст на двадцать кругом слышно быть должно. Дронов огляделся еще раз. Полковника на стене уже не было, зато шагах в двадцати, на стене же, стоял и вдаль глядел другой человек, в сюртуке, черноволосый, лет под сорок.

— Ага! Вы новенький! — сказал громко человек, повернувши к Дронову свою голову. — Вводную беседу провел уже наш стратег? Ну как вам здесь?

Последний вопрос человек задал, будучи уже рядом с Дроновым и глядя ему в глаза с интересом, изучающе, серьезно и напряженно, как ребенок разглядывает незнакомую вещь. — Мне здесь хорошо, — ответил Дронов, — вот смотрю и не могу привыкнуть...

— К этому невозможно привыкнуть, — быстро перебил человек. — А мне здесь плохо. — Напряженность во взгляде человека усилилась, он еще более приблизил свои глаза к лицу поручика.

— Плохо? — поручик чуть отступил. — Не понимаю, вы ж, наверное, оттуда? Бежали?

— Оттуда. Только не бежал. Меня мсье полковник на себе приволок. Вызволил, так сказать, из большевистских уз. Отбил меня, изувечив при этом двух моих конвоиров. Вот с этой стены, с этого самого места, он углядел, как меня вели, мгновенно принял решение; даже вроде со стены прямо прыгнул, м— да... А теперь мне плохо! Я, знаете ли, естественник, физик. И я не люблю, когда вижу нарушение законов природы! Точнее, я еще ни разу никаких нарушений не видел. Пока полковник сюда не притащил... И вот теперь с этой стены я их вижу! И это приводит меня в бешенство! И все равно Бога нет! Да-с-с... — и человек гордо поднял голову, и гордо удалился.

Тихо пошел за ним и Дронов. При спуске с лестницы ему вдруг опять не по себе стало; когда стена скрыла за собой внешний мир, опять показалось, что никакие они тут не невидимки, что там, за стеной, скрытые ею красные уже пошли на штурм и сейчас услышится их «ура» и увидятся их рожи на стене. Поручик стоял и смотрел наверх. Никакого «ура», никаких рож. Тишина. От того места, где он стоял у основания лестницы, к большому храму с иконой «Успение» над крыльцом, с колокольни которого звонил колокол, вела неширокая аллея совсем молодых липок. По аллее брела с отсутствующим лицом молодая дама. Слева от аллеи, прилепившись к стене, стояло низкое, красным кирпичом выложенное строение с кельями; в каждую келью вела дверь, почти все они были открыты. На

площади перед храмом — убранный в зелень камень, из земли вырывался фонтанчик прозрачной воды. Еще два рубленых вытянутых дома стояли по обе стороны площади, за храмом виднелись кладбищенские кресты. Вот и все, что находилось внутри монастыря. Две стены, метров по семьдесят длиной, сходились друг с другом под прямым углом, а третья замыкала их полукругом, пересекая небольшой холм, на котором и стоял один из вытянутых домов.

— Здравствуйте, — услышал поручик совсем рядом.

Некрасивое отсутствующее лицо дамы стало присутствующим, она смотрела на поручика наклонив голову и прищурив близорукие серые внимательные глаза.

— Честь имею, — поручик сдвинул пятки вместе и резко наклонил голову, — поручик Дронов, Александр Дмитрич, прошу прощения за растерзанный вид.

— Сегодня прибыли?

— Сегодня...

— Меня зовут Оля. Просто Оля и все.

И вдруг за спиной поручика послышался смешок и детский голосок проговорил нараспев:

— Не-е-т, не просто Оля, а Оля-большая. А я-а-а — Оля-ма-але-нькая.

Платье на Оле-маленькой было точно из лоскутов сшито — все в швах и заплатах.

— Племянница моя, — сказала Оля-большая. И, чуть улыбнувшись, добавила: — Коварная и беспощадная, как великая княгиня Ольга до крещения.

— А Оля-большая, — в тон ей подхватила девочка, — смиренная и любовносная, как великая княгиня Ольга после принятия христианства.

— Чем же это вы так коварны? — спросил поручик Олю-маленькую.

— А я врагов своих опоила и казнила, — спокойно пояснила Оля-маленькая, — я их сожгла вместе с домом.

И она стала распевным своим голосом, плавно и широко жестикулируя, рассказывать:

— Они озверели от водки, они упивались буйной радостью, что славно порубали... им показалось мало Оли-большой, они захотели и меня, их было двенадцать человек, и я сама пошла им навстречу... я плясала на столе, я выделывала ногами такие кренделя, что — ух! Они визжали от восторга, словами не передать их сатанинский восторг, и... тут я выхватила у одного нож, приставила его к сердцу и крикнула, что первому отдамся тому, кто выпьет на одном дыхании целую литровую кружку самогонки; мою девственность — самому доблестному! И

если до того кто хоть шаг ко мне сделает – я убью себя. Тут они совсем... Они разом набросились на самогонку и стали с отвращением пить. Они и без того еле на ногах держались, но пили все и на меня косились, на некоторое время тишина даже воцарилась, и я увидела страшные, в слезах, глаза Оли-большой. И вот двое выпили, наконец, и ко мне. И остальные – тоже. Но все были уже настолько пьяные, они лезли через стол, друг через друга, кутерьма образовалась невообразимая. Платье мое от их лап обратилось в клочья, я несколько раз вокруг себя, как самурай мечом, ножом своим махнула... попала, и хорошо попала... Да и они друг друга дубасят... удалось мне, милостью Божьей, увернуться от них, а когда ноги их перестали слушаться, я вытащила Олю-большую за дверь и закрыла их там на щеколду. Там в сенях было полведра керосина... мы выбежали из этого проклятого дома, и я увидела колокольню, и мы прибежали сюда. А там не только тот дом сгорел, черный дым с той стены весь день виден был...

Поручик стоял неподвижно и жадно, с трепетом слушал. Он весь был во власти голоса Оли-маленькой. Что-то особое, неведомое ему ранее нес в себе ее голос. Он создавал зримые образы. Поручик видел пьяные орущие рожи, жилистые лапы, рвущие платье Оли-маленькой, заблеванный пол, Олю-большую, в столбняке стоявшую в углу, полыханье пламени, вопли заживо в нем сгораемых, двух бегущих в разорванных платьях среди оторопелой солдатни с красными звездами на фуражках...

И при этом удивительно спокойным был голос этой девочки, на вид не более двенадцати лет от роду. Но в обыкновенных словах, ею произносимых, точно был еще какой-то смысл. В своей жизни поручик почти не общался с детьми, он не думал, что двенадцатилетние дети могут так говорить, да и никого поручик не мог представить, кто вот так говорил бы о недавно пережитом. И какая-то странная полуулыбка примерзла к губам Оли-маленькой.

– Сколько вам лет? – спросил поручик Олю-маленькую.

– Двенадцать.

Оля-большая же все это время смотрела перед собой отстраненным взглядом и, казалось, совершенно не слышала, что говорит племянница.

– Все это было месяц назад, – вдруг сказала Оля-большая, – мы пробирались в Крым. Из Москвы. Вот и пробрались.

– И, однако, что же коварного было в действиях вашей племянницы? Да она просто молодец, ваша Оля-маленькая. Даже если одной этой тварью краснoperой на земле меньше станет... а тут...

– Кто назовет человека «рака» – подлежит синедриону, – сказала Оля-большая и строго посмотрела на Дронова.

– Это что ж, мучителей ваших, которые вас истерзали, которые всю Россию истерзали, весь мир готовы истерзать, простить их, что ли?!

– Да, безусловно.

– И вы их простили?

– Да.

– А я нет! Я – солдат, и мое дело на поле брани не прощать, а драться! И не прощу! И буду бить их, пока руки оружие держат. – И это очень печально.

– Да... да вы шутите, что ли?!

Оля-большая отрицательно махнула головой, тяжело вздохнула, сказала тихо «простите» и, повернувшись от поручика, медленно пошла назад.

– Вы Олю-большую не обижайте, она у нас святая, – серьезно и совсем уже не по-детски произнесла Оля-маленькая.

При этих словах Оля-большая остановилась и резко обернулась:

– Еще раз так скажешь, Ольга, – выдеру!

– А давно здесь этот монастырь? – спросил поручик у обеих Оль сразу.

Оля-большая пожала плечами:

– Мне кажется, он всегда был.

– Вы меня об этом спросите, – сказала Оля-маленькая и потащила поручика к скамейке у стены, – я здесь про все знаю, я со всеми тут говорила-спрашивала, а Оля-большая, она и ни у кого не спрашивает. Одно только спрашивает, когда человека впервые видит: «Вы сегодня прибыли?»

– А ты тут как тут и говоришь: «А я Оля-маленькая».

– Да, и ничего тут смешного нет.

– А я разве смеюсь?

– Вы улыбаетесь. И историю нашу я никому не рассказывала, кроме вас, вам первому, а все все равно все знают.

– Это как же?

– Монастырь, – вздохнула Оля-маленькая и пожала плечиками. – Тут все не так, как там, за стеной, здесь все друг про друга все знают. А вообще-то Марья Палне рассказывала, отцу Петру...

– Скажи-ка мне, Оля-маленькая, а тебе не страшно, что ты в центре такого грандиозного чуда находишься? Может, это все сон?

– Нет, не сон. А страшного тут что ж? Бог чудо устроил, чего ж тут страшного? Это за стеной страшно.

– Да-да, да-да... – поручик задумчиво помотал головой и опять сказал: – Да-да...

– Что «да-да»? – удивленно спросила его Оля-маленькая.

– Да-да, Бог чудо сотворил.

– А вы что, до этого чудес не видели?

– Не приходилось.

– Ну так читали небось?

– Небось читал. В детстве.

– Так вы же верили, когда читали?

– Да как-то... одно дело читать, а другое глазами видеть.

– Но вы же верили, когда читали? Вы в Бога верите?

– Хм... вообще верю.

– Как это «хм» и как это «вообще»?

– Эх, Оля-маленькая, что ж ты так приступила ко мне? Про монастырь лучше расскажи.

И снова поручик оказался в плену голоса и глаз Оли-маленькой и как бы воочию видел то, что она рассказывала, видел даже больше, чем услышано было.

...Новый архиепископ местной епархии, преосвященный Алексий, заступивший на должность в начале германской войны, резко отрицательно относился к отшельничеству монахов вне монастыря, видя в том повод для гордыни и вообще душевного разлада; и тут узнает он, что на опушке Большого бора, невдалеке от епархиального центра, спасается в пещере, им самим вырытой, некий старец, иеромонах Спиридон, спасается лет двадцать уже как, а то, может, и поболее того, никто точно не помнит, когда он пришел в эти края.

– По чьему же благословению он там? – недовольно осведомился преосвященный. Секретарь отвечал, что по благословению ныне почившего игумена Митрофаньевского монастыря, что у него вся жизнь по благословению, что чудес он не творит, исцелений не совершает, народ к нему не ходит. Когда-то начали было ходить, да он сам отвадил раз и навсегда. Ни советов, говорит, давать не могу, ни лечить не могу, ничего не могу, молюсь только, как могу, за себя и за всех вас, будете мешать, будете от молитвы отрывать – и вам проку не будет, и себя погублю, не успею отмолить жизнь свою многогрешную. Расплакался он

тогда и всех, кто пришел, — прогнал. С тех пор и не ходят. Тихо он живет, владыко, — успокаивал секретарь преосвященного.

Однако тот не успокоился и пожелал видеть старца, а тут ему докладывают, что старец к нему сам просится.

Благообразный, смиренный вид старца произвел отрадное впечатление на владыку. Порадовало его и то, что старец сам пришел.

— Почто один живешь, отче? — спросил преосвященный. — Ведь с одним бесам легче справиться.

— Так бес, он не германец, владыко, чтоб его скопом одолевать. — Но видя недоумение и неудовольствие на лице преосвященного, старец поклонился и сказал:

— Прости меня, владыко, за благословением я пришел, уходить я надумал.

— И об этом поговорим. Расскажи-ка, как ты спасаешься.

— Да что тут рассказывать, — развел руками старец, — молюсь, да и только.

— Как же ты постишься?

— Плохо, владыко, только зимой и выходит у меня пост.

— Что же у тебя зимой?

— Раз в седмицу к сухарику с водичкой прикладываюсь.

— Раз в седмицу?!

— Да реже не на пользу будет, думы о чреве тревожить начнут.

— Кто-нибудь знает про такой твой пост?

— Да никто про меня ничего не знает, невижу я людей, а волкам-то не интересно.

— Заходят волки-то?

— Да прям рядом логово.

— А куда это ты уходить собрался?

— За сто верст отсюда есть Глубь-трясина...

— Знаю-знаю.

— Вот туда иду.

— Да что ж там делать-то будешь? Место гиблое, топкое.

— Монастырь строить буду.

– Что?! – после долгой паузы испуганно спросил преосвященный. – Я не ослышался, отче? Или шутишь?

– Нет, ты не ослышался, владыко, да и не пристало мне шутить.

– Тогда объяснись. Что за решение немыслимое? Что за напасть на тебя напала?

– Нет, владыко, не напасть, мне явился мой небесный покровитель, святитель Спиридон, и он повелел мне идти в Глубь-трясину и строить там монастырь его имени, последнее прибежище для гонимых и страждущих в страшные времена, скоро грядущие.

– Да ты еще и пророчествуешь! Ты не просто умом повредился от уединенной жизни. От гордыни такое пустынножительство. И ясно теперь, кто тебе явился!

– Нет, владыко, не бес мне явился, я это твердо знаю.

– Много берешь на себя, отче, ты не Антоний Великий.

– Я знаю, что я не Антоний.

– Запостился ты, отче, не по силам крест на себя взвалил. Беспредельна хитрость бесовская. Он, лукавый поганый, науськивает на непосильные подвиги, потрафляя гордыне нашей, духовник велит пятьдесят поклонов класть, а бес нашептывает – делай двести... А помнишь, как одному древнему подвижнику аж в виде Христа самого явился и говорит: «Иди в город: там епископ умер, один ты достоин», а тот и пошел, яко слепец, да и – в пропасть!

– Знаю я, владыко, из «Отечника» примеры скорбные падений.

– И упорствуешь в своем безумном решении? Ты надорвал свои силы, постник, ты поражен лукавым, ты никуда не пойдешь, не будет на твоем безумии моего благословения.

– Спаси тебя Господи, владыко, с меня достаточно благословенья святителя Спиридона.

– Ну что ж! Коли так отвечаешь, вольному воля. Глубоко увязшему в трясине бессмысленно подавать спасительный шест, вместе с ним утонешь... Из чего же ты там монастырь собираешься строить? Из тины, из ила?

– Не знаю, владыко: то не моего ума дело; святитель Спиридон все устроит.

– А зачем ты ко мне пришел?

– Сказать о том, что сказал. Прости меня, владыко, молись обо мне, грешном.

И старец ушел от архиепископа. В тот же день он собрал вокруг себя семьдесят человек строителей. И кого тут только не было: и простолюдины, и дворяне (один даже графский сын), и монахи, и крестьяне, и фабричные, и солдаты – всех сословий, профессий и возрастов. Собирал он их по какому-то своему наитию, всем говорил одно и то же – идем со мной строить монастырь в Глубь-трясине; и все, к кому он так обращался, следовали за ним без лишних разговоров. И солнечным сентябрьским утром, под Рождество Богородицы, собирались они все на опушке у Большого бора и двинулись гуськом вслед за старцем к Глубь-трясине. Их молча провожала стая волков, неподвижно стоявших у пещеры старца. Так вошли они в Глубь-трясину и попали на глиняный остров.

– Из этой глины мы будем делать кирпичи, – сказал старец, – а вот здесь выроем колодец, в который уйдет вода Глубь-трясины.

Несколько дней спустя к деревне Болотной, примыкавшей с юга к Глубь-трясине, подъехала карета и из нее вышел архиепископ Алексий. Всполошившиеся нежданным высоким визитом, жители деревни никак не могли взять в толк, о каком старце и о каком строительстве спрашивает преосвященный. Вот она, Глубь-трясина, как была, так и есть, накрытая шапкой зеленоватого тумана, шаг один с мостков – и нету человека, нет прохода через нее, все она поглощает, все тонет в ней.

Вздохнул архиепископ, покачал головой, перекрестился и уехал. Несколько раз он еще приезжал; постоит-постоит, поглядит на трясину, повздыхает – и назад. Так и не услышал внешний мир,войной и зарождавшимися распрыями занятый, о строительстве монастыря в самом сердце Глубь-трясины; архиепископ Алексий и все прочие видели все то же марево над зелено-коричневой страшной гладью да дальний лес с другой стороны, Большой бор, а оттуда и смотреть было некому. Мысль о судьбе старца все время тревожила архиепископа Алексия; ясное дело, что не шутил он, говоря, что отправляется в Глубь-трясину. Лицо старца постоянно пребывало перед глазами преосвященного, и не видел он в том лице ни гордыни, ни безумия, оно было детски открытым, но с печально-слезящимися глазами. Однако пошел старец в Глубь-трясину! Пошел и утонул – и ничего другого не могло произойти; как ни напрягал свои мысли архиепископ, только так все ему виделось. И не таких губил лукавый, какие великаны падали!

К лету 17-го монастырь-невидимка стоял на месте Глубь-трясины. Рядом рос и плодоносил роскошный сад, а со стороны деревни к стене примыкал огород. Через него и бежали к монастырю обе Оли и полковник. Есть и кладбище свое, где похоронили скончавшихся за эти годы строителей, остальные все приняли монашество...

– Откуда ты все это знаешь, а, Оля-маленькая? – спросил поручик, когда очнулся от ее рассказа.

– А отовсюду. Как курочка по крупичкам.

– Что-то много умерло только. Целых пятьдесят пять человек. Уж больно много.

Оля пожала плечами:

– Так Бог судил. Главное, наверное, в своей жизни сделали, что ж еще... А знаете, архиепископ Алексий тоже здесь.

– Да ну?! И... и как они со Спиридоном?

– Да что же такого может быть у них? Преосвященный молчит с тех пор, как сюда попал, келью не покидает, плачет и молится. Он же у нас не беженец, он приведенец.

– Как?

– Его сам отец Спиридон привел из тюрьмы.

– Это как же?

– А как апостола Петра Ангел – за руку мимо стражей.

– М-да... Чудно все это и... страшно.

– Опять вы!

– Не буду, не буду, я просто растерян.

– А вы найдитесь. О чем вы думаете?

– Я думаю... Я представляю звонок в мою дверь, и на пороге я вижу старца Спиридона, и он говорит мне, мне тому, пятилетней давности, – идем строить монастырь в Глубь-трясине. М-да...

– А вы бы пошли?

– А ты?

– Не знаю.

– Наверное, потому к нам и не пришли. И никогда никто уже не придет.

– Теперь мы сами сюда пришли.

– Да, пришли – на готовенькое. А вот если... все бы откликнулись, а! Какой-бы монастырище отгрохали! И все невидимы для этих.

– Если бы все откликнулись, наверное, и строить бы не понадобилось. И этих бы не было, – Оля-маленькая вздохнула по-взрослому и сказала затем совсем уже по-детски: – А сейчас скоро обед будет, – и указала на вытянутый деревянный дом на холме, – там кухня и трапезная.

– Так меня ж накормили недавно, Оля-маленькая.

– Ну и что ж, все равно обязательно пойдемте. Посидите, посмотрите. Здесь вообще-то каждый живет как хочет, кроме монахов, конечно, – у них устав. А давайте-ка вы руку и пойдемте... Да что вы все на стены смотрите, никто оттуда не появится.

– Все-то ты знаешь.

– Знаю, сама так смотрела.

– Ну не тяни так, за тобой не угонишься...

Ломило болью обожженное, изрезанное оконным стеклом, ушибленное лицо, но все забывалось от вида звонящего монастыря. Весь взвод на ноги поднял, однако дальше взвода не пошло, скрутили, затолкали в избу к ротному комиссару, старому приятелю. Ротный комиссар, старый приятель, носивший жалобно-воинственную фамилию Взвоев, принял сильное участие в сумасшедшем: и за плечи встряхивал, в глаза проникновенно глядя, и слова увещевательные говорил, и кулаком перед лицом обожженным тряс, и револьвером по столу стучал, и в помощь и в свидетели призывал и здравый смысл, и беса, и мировую революцию – все зря, упорствовал обожженный и отвечал страстно:

– Да ну что ты на меня орешь, Взвоев! Нормальный я, но вот он, стоит, и не призрак он никакой, не мираж. Значит, и ты мираж, я его так же, как тебя... ну нормальный я! Хрен его знает, что это, но вот он стоит... О! Слыши, опять звонят.

– Это в ушах у тебя звенит. Хрен его знает, что звенит. Комары там звенят, да и здесь тоже, чтоб их...

– Но ведь ты глянь на меня, Взвоев, ну ведь нормальный я, ну во всем нормальный, ну все я вижу, как оно есть, хочешь – посчитаю, почтал бы, коль умел, ну спрашивай про все... а он стоит!..

И поволок его Взвоев к дивизионному врачу Долгову И. И., которого считал себе обязанным, ибо именно благодаря Взвоеву сей врач оказался в дивизии: когда ворвались в Воронеж, на второй день, Взвоев обследовал по мандату буржуйские квартиры и обнаружил на одной двери медную вывесочку: «Врач Долгов И. И.» Это ж ненормально, когда на целую легендарную дивизию ни одного врача, фельдшерами, фельдшерицами, сестрами милосердия разжились, а вот врачом никак, и по линии «воен meda» не присылали. И сей Долгов И. И. в момент предстал перед очи комдива Кряка.

– Вы назначаетесь главным врачом дивизии, – коротко и просто сказал Кряк, когда уяснил, кого перед ним поставили. Все, на кого смотрел комдив Кряк, ежились и как бы становились меньше ростом . и уже; все, с кем говорил комдив Кряк, слышали в его голосе позякивание рухнувших цепей и скрежет диктатура-пролетарского меча, еще не перекованного на орала.

На пути к комдиву Кряку, во взвоеевых объятиях, у Долгова И. И. еще покипывало возмущение и потрескивал гнев праведный, однако увидев комдива Кряка и услышав из уст его о своем назначении. Долгов только кивнул головой, да судорога прошла по лицу его.

– Ну и славненько, – закончил комдив Кряк и похлопал дружески по плечу обоих: и вновь назначенного, и протеже его. Так доктор Долгов И. И. стал главным начальником медхозяйства легендарной дивизии Кряка. С тех же пор, как расположилась дивизия в проклятом этом месте, доктор Долгов пребывал в крайней степени растерянности и смятения, если не сказать хуже: он видел монастырь и не видел никакой Глубь-трясины. И даже заикнуться с кем-нибудь из окружающих о монастыре не смел, и даже взглянуть лишний раз в ту сторону в чьем-либо присутствии не решался. Один раз спросил его какой-то забинтованный: «Чой-то вы так смотрите туда, доктор?» – так едва сердце не разорвалось у доктора от этого вопроса. Увидав же перед собой обожженного, орущего, что, да-да, видит он монастырь, видит и все тут, доктор начал тереть виски и сосредоточенно глядеть в глаза сумасшедшего.

– Вообще-то я не психиатр, – уныло сказал доктор сопровождавшему Взвоеву.

– Однако ты врач, – отрезал Взвоев. – Мне чего интересно, мне интересно – он по своим стрелять не начнет?

– Сам ты начнешь стрелять по своим, – заорал обожженный, – нормальный я!

Доктор Долгов вколол пациенту мощную дозу снотворного и пробормотал вопрошившему взглядом Взвоеву: «Бог даст, поспит, пропадет галлюцинация».

Полууспокоенный Взвоев ушел, а у Долгова так сердце заныло, так тошно на душе стало, что сразу после ухода Взвоева он хватил целый стакан неразбавленного спирта и стал мрачно глядеть на уснувшего пациента, пока сам не уснул за столом.

Утром доктор Долгов обнаружил, что пациент исчез, и сразу понял, куда он исчез. Подступившему же Взвоеву сказал, что не знает, куда он пропал, и что вообще это совсем не его дело. День целый метался Взвоев в поисках друга, к вечеру устал и, чувствуя себя совершенно измотанным, пошел к доктору Долгову и потребовал спирту. Лиших слов не говоря, доктор вынул графин и разлил по полной в два стакана. И тут в дверь вошел обожженный. Доктор и Взвоев застыли со стаканами в руках.

– Ты откуда? – спросил Взвоев. Почему-то шепотом у него получилось.

– Оттуда. Из монастыря. Монастырь там, Взвоев, с монахами. И еще люди. Полковник, помнишь, в трясину бросился, там он... И тот шпион, профессором назывался, помнишь, на расщепку вели... там тоже, – очень выразительно произнес все это обожженный.

И очень внимательно теперь выслушал его Взвоев.

– Так ты туда чего, на разведку, что ль, ходил?

Обожженный пожал плечами и покачал головой вправо-влево. Очень он растерянно выглядел.

– Нечего там разведывать, Взвоев, монастырь там, не арсенал.

– Я тоже его вижу, – вдруг прошептал доктор.

– А почему его не вижу я?

– Хочешь – сходим? Пойдешь с нами, доктор?

– Но как же это, – произнес Взвоев и свел брови к переносице, – он есть, говоришь, а я его не вижу.

– А я тебя со стены видел, как ты бегал.

– С какой стены?

– С монастырской, с какой же еще?

Взвоев выдохнул и выпил свой стакан.

– А я-таки думал, что галлюцинирую, – сказал доктор, лицо его было сплошная страдальческая гримаса, – однако что бы это могло значить?

– Это значит, что Бог есть, – шепотом сказал обожженный. Он взял докторский стакан, но Взвоев остановил его.

– Слушай, – сказал он, – а может, ты все-таки сумасшедший? Проболтался в лесу и плетешь теперь... – несколько мгновений еще Взвоев глядел внимательно в глаза обожженному, затем взял у него докторский стакан и выпил до дна. – Слу-ушай, а если ты там... на стене на меня смотрел, если говоришь, Бог есть, чего ж ты назад-то?

– Страшно, Взвоев. Гляжу я сюда, войско тут, все одно ведь хана белякам, наша берет, а я вроде как невидимка для вас и... а... страшно, комиссар...

– Пойдем, веди, – сказал решительно Взвоев, вытирая рукавом рот. – Идешь, доктор?

– Нет, – столь же решительно ответил доктор.

– Поглядим, – совсем нерешительно сказал Взвоев.

— Слушай, — обожженный схватил Взвоева за рукав, — а может, его пушками, наведем да раздолбаем.

— Ну-ну, иди доложи Кряку, давай, мол, по Глубь-трясине пальнем со всех батарей, я, скажи, монастырь там вижу. По тебе самому пальнут. Пошли, что ли? Идешь, доктор?

— Я сказал уже.

— Что, неинтересно?

Доктор отрицательно покачал головой:

— А не спятишь? Ты вон глянь, как этого разобralo.

— А ты? Так и будешь на него смотреть? Слу-ушай, так ведь ты ж давно его видишь?

— Что и сколько я вижу — это мое дело, а смотреть я буду в другую сторону.

Взвоев удивленно взирался на доктора, пораженный решительностью его голоса.

— Что вы так смотрите, комиссар, здесь-то, действительно, войско, а там... галлюцинация для двоих.

— Так ведь был же, говорит, — Взвоев ткнул на обожженного, — не галлюцинация, говорит.

— А что тогда?

— Слу-ушай, а может, и вправду Бог?

»Войско« — вдруг означилось слово и защекотало докторский язык. «Войско! Войско?..» — и так и осталось язык щекотать, не выскоило, не прозвучало. Холодная, тупая, тоскливая боль стала заполнять докторскую голову.

— Уходи, комиссар, — потирая виски, закончил доктор.

Подойдя к краю Глубь-трясины, Взвоев остановился: «Что видишь?» — спросил он, глубоко вдыхая болотный воздух.

— Полянка это, а за полянкой сад до огорода ихний.

— Иди сюда, на загривок тебе сяду, коль потону, так после тебя, на голове твоей хоть постою.

Прошли так шагов двадцать.

— Э-э, — захрипел вдруг обожженный, — ишь схватил, задушишь.

— Стой, — шепотом проговорил Взвоев. — Вижу, сам пойду.

И он пошел сам, неотрывно глядя на открывшийся монастырь. Он долго щупал рукой стену, и даже щекой об нее потерся, долго смотрел на встретившего их старика монаха, потом ощупал его рясу и пошел на стену, озираясь; час он стоял на стене, потом смотрел на колокольню, потом слушал колокол, спустился и все ходил, смотрел, и щупал, и озирался, и совсем не видел и не слышал следом идущего обожженного, который все что-то говорил и говорил Взвоеву и за рукав его дергал, и в глаза пытался заглянуть.

Вдруг Взвоев резко остановился около Успенского храма. Пот его прошиб, ознобом ударило – да, перед ним стоял он, тот самый храм в Митрофаньевском монастыре, где его рота отличилась...

Закрытые храмовые ворота тужились, дергались, сдерживая напор чего-то страшного, прущего изнутри. И вот, не выдержали они, распахнулись с треском, и Взвоев увидел, что это кровь напирала, ею целиком был наполнен храм, и вот вырвалась она теперь и воющим потоком устремилась на Взвоева, и сотни обезображеных трупов кувыркались в этом потоке. Славно погуляла рота. Отшатнуло Взвоева, он упал, сбив с ног вскрикнувшего, даже не успевшего оторопеть обожженного. Несколько шагов Взвоев промчался на четвереньках, затем все – таки оттолкнулся мощно руками от земли и – только ветер засвистел в ушах! Но страшный поток настигал, Взвоев вломился в какую-то открытую дверку и рухнул, растянулся, споткнувшись обо что-то. Все, сейчас накроет. Он обхватил голову руками и завыл, закричал, заглушая рев надвигавшегося потока. Что-то мягкое накрыло его голову; продолжая орать, он схватился судорожно рукою за это мягкое и понял, что это какая-то ткань. И еще почувствовал тепло руки. На его голове лежала епитрахиль старца Спиридона. Взвоев поднялся – и тут его затрясло от глухих рыданий...

Доктор Долгов И. И. сидел в своей медизбе спиной к окну и пил спирт. Увидев возникшего перед ним Взвоева, он сморщился и отмахнулся рукой.

– Уйди, комиссар, если ты настоящий – уйди, если видение – сгинь, надоел.

– Я не видение, я за тобой, доктор, я тебя сюда приволок, я тебя отсюда и уведу.

– Уж не в монастырь ли?

Взвоев кивнул.

– А не много ли берешь на себя, комиссар? Я не вещь.

Взвоев приблизил свое лицо к докторскому:

– Да ты что, доктор, вправду спятил? Слу-у-шай, это я тебя так напугал? Прости, браток... жизнь я тебе поломал, прости. Пойдем.

– Так что там, комиссар?

– Монастырь.

– Это я и без тебя вижу.

– И я теперь вижу, отсюдова вижу. Настоящий монастырь, доктор. И скоро все увидят. Когда старец умрет. Старец там есть святой, это он все устроил. Идешь?

– Нет.

– Ну, тогда давай по последней. Слу-у-шай, а ты ж не пил вроде?

– А ты постарел за сутки, комиссар. Ты и без того страшен был, а теперь прямо жутью от тебя веет. Оставайся-ка ты, не валяй дурака, сам говоришь, что скоро его все здесь увидят. М-да, действительно, что же тогда?

– На штурм вы пойдете.

– «Вы» в твоих устах очаровательно звучит. М-да, здесь войско, комиссар.

– А там Бог.

Сказав так, Взвоев вышел, чтобы никогда больше не встретиться с доктором.

»Войско...» – опять защекотало докторский язык, опять защемило голову, опять подступила тоска. «Господи, – уныло сказал доктор, – убери монастырь этот с глаз моих...» – «Бом» – грохнуло вдруг за спиной. Доктор закрыл уши ладонями. Долго так сидел, не пуская в себя беспокоящий звук. Вздрогнул, почувствовав прикосновение. Поднял голову, обернулся и увидел небритого соратника-фельдшера. Соратник виновато сморщился и сказал:

– Разрешите обратиться, товарищ красврач. Товарищ красврач, красное воинство бьет челом и просит Христа ради на разговление душевное, вкупе же и телесное. Взамен дают трофейный френчик, новехонький, и сапоги аж яловые. А, товарищ красврач? – Вон! – «товарищ красврач» вскочил и бешено замахал руками и заорал всякое бессвязное. Соратник в ужасе отпрянул и бежал.

– Вон! – продолжал орать доктор на дверь. Все внутри, изодранное тоской, особенно взвыло от этого «красврач», хотя Долгов И. И. неоднократно слышал это обращение и вполне терпел его. Заснул доктор за столом, а проснувшись утром, увидел в окно Глубь-трясину... И еще больше щемило извилины и драло тоской внутренности.

Весьма мрачным стало настроение у поручика Дронова после рассказа Оли-маленькой.

– Твое лицико, Оля, как та тарелочка, по которой яблочко катается, все видно.

— А ваше лицо, Александр Дмитрич, как лицо того Ивана-царевича, который на тарелочке Кащея-бессмертного увидал.

Рассмеялся Дронов и сказал:

— Вот только Марьи-Моревны у меня нет, похищать у меня некого.

— У вас нет семьи?

— Не успел я семьей обзавестись. Наши жены — пушки заряжены. Подожду вот, когда ты подрастешь.

— Не говорите так больше. Нехорошо.

— Да что ж я плохого сказал, Оля-маленькая? Белой завистью будут завидовать твоему мужу.

— Белой зависти не бывает. Зависть всегда черная. А я никогда не подрасту.

— Это почему же?

— Потому что нам отсюда не выбраться.

— Ну почему ж, попытаться все-таки можно.

— Не нужно отсюда, Александр Дмитрич, никуда выбираться. Не нужно от Бога убегать.

— А разве желать жить — от Бога убегать?

— Желайте, живите. Здесь живите, не зря же нас здесь Бог собрал. Больше для нас жизни нигде нет.

— Ну уж ты слишком...

— Ничего не слишком.

— Руки у меня чешутся бить я их хочу. Братца, кстати, хочу повстречать. У красных он командирствует, чуть ли не корпусом командует.

— Родной брат?

— Роднее некуда. Ты в восемнадцатом в Москве была? Вот и мы в Москве были. Они тогда, наверное, всем офицерам в Москве по повесткам предложили явиться на сборный пункт, так сказать, — в Новоспасский монастырь. Явились сдуру. Братец мой предложение принял. Меня, слава Богу, человек один вызволил, имени не его знаю, помню — поручик тоже, замок в двери нашей сломал, нас в той келье человек двадцать сидело, ушли мы. А остальных расстреляли. Вот...

— А зачем вы хотите брата встретить?

Дронов пожал плечами:

— В глаза ему хочу поглядеть.

– Я думаю, на этом ваша встреча не кончилась бы. Не нужно вам его встречать.

– Ты прямо как Оля-большая говорить начинаешь.

– Нет, я такая же, как и была, и я бы тоже, наверное, если б, конечно, на вашем месте оказалась, встретив, убила бы его. Но не надо, Александр Дмитрич, уходить отсюда, чтобы брата убить.

– Да и не ухожу я никуда, Оля-маленькая, так, подступает...

– А вы не думайте об этом, радуйтесь просто, что Бог так явно открыл Себя нам. Что еще нужно?

– Да, пожалуй, что ничего.

Они молча пошли мимо открытых дверей келий. В одной из них Дронов увидел сидящего за столом человека, одетого в заштопанную толстовку; белые развесистые баки и со спины были видны. Человек обернулся, и поручик увидел меж белых развесистых баков тонкие, гордо поставленные губы и смеющиеся глаза.

– Проходите, проходите, проходите, милсдарь, – сказал человек, – чего ж так, через порог-то? Полюбопытствовать зашли?

– Да просто познакомиться. Если не возражаете. Под одной крышей теперь живем.

– Да хоть и из любопытства, милости прошу. Любопытство – это здоровейшее человеческое чувство. Человек нелюбопытный есть человек больной, нация, состоящая из нелюбопытных, есть большая нация. Любопытство придумало науку, а отсутствие его выдумало Бога. Эк я вас сразу-то, а?

– Странно слышать такое от чиновника Синода.

– И от ответственного чиновника, заметьте!... Что же вы замолчали, молодой человек? Пора, кстати, представиться, меня зовут Анатолий Федорыч.

– Меня Александр Дмитрич.

– Да вы садитесь, садитесь, чайку погоняем... ну и что ж, что с трапезы, чаек он и после трапезы чаек. Конфетки вот. Тут есть такой отец Пафнутий или Онуфрий, это неважно, это он конфетки делает, они лучше столичных, тех еще, естественно, столичных, той столицы, которой больше нет.

– Однако почему же вы, коли о Боге так говорите, в Синоде работали?

– И заметьте – очень неплохо работал, я руководил религией, то есть ведал утверждением основополагающего столпа российской государственности. И я этим

занимался честно, увлеченно и со знанием Дела, заметьте. Увы, рухнул столпик. И не по моей вине, заметьте.

– А как же можно, не веря в Бога, утверждать веру?

– Очень даже можно, и уверяю вас, что, только будучи свободным от сего суеверия, и можно его по-настоящему втискивать в головы простонародья, а также тех, чье сознание предрасположено к этому, каковым является, например, ваше сознание. И крайне важно, чтобы все прочие соблюдали видимое почтение к сему столпiku. Такова уж природа российской государственности, что без сего суеверия государство россиян теряет устойчивость и обречено на гибель, что мы и наблюдаем. И уж поверьте, как русак до двадцать пятого колена я не за страх, а за совесть старался отодвинуть катастрофу, но любопытство русского человека впервые победило в нем все остальное. И вот христианской России больше нет. И вам не одолеть варварского любопытства, ныне торжествующего в русском человеке.

– О каком любопытстве вы все толкуете?

– Судя по вашему сердитому лицу, вы думаете, что я оригинальничаю и в слова играю? Ничуть, я предельно серьезен. Так уж исторически сложилось, что никакой демократической основы, вообще склонности к демократии в русском человеке нет. Он неорганизован, на государственные интересы ему плевать, он склонен к анархии, он типичный гребсеб, гребсеб – это греби к себе, он сам по себе не способен к обузданию своего разносного характера, он ленив. Единственное, что держало его в жестких рамках государственности, – страх перед Богом. Русский человек, как никакой другой, любит покой и ничегонеделание, а умерять свои потребности сообразно общественной необходимости он совершенно не желает. Поставьте сотню русаков всех сословий перед казнью и дайте им волю, так они бросятся растаскивать ее и передерутся меж собой, и менее всего будут думать, что себя этим губят. Где-то и кем-то сочинена байка, что русский человек не может жить под чужеземной пятой. Но это вранье, с такими-то задатками, кои я только что перечислил и отрицать которые бессмысленно, он будет жить под кем угодно, если его в узде будут держать и подкармливать слегка. Впрочем, последнее не обязательно. Вот она, пятая чужеземной идеи, над нами и вот наше варварское любопытство, вот оно, готово принять ее гнет. Да-да, любопытство, что ж еще, это ж любопытно грабить, все вообще делать вопреки заповедям, разгуляться – что-де из этого выйдет? Все народы любопытство сие удовлетворяли постепенно, в течение столетий, а мы, нелюбопытные, все это время спали под Божьим, так сказать, покровом. И вот сейчас враз вдруг проснувшееся любопытство социальное решили удовлетворить – «что-ка из этого выйдет?»

Морщась от раздумий, поручик сказал:

– Но могла ли просто идея Бога без самого Бога – просто идея, нечто, фу! – тысячу лет объединять русских людей в мощнейшее государство?

– Оставьте! Какое там мощнейшее, видимость одна, – последовал тот же величавый жест рукой, – а идея, молодой человек, это не фу!

– Идея Бога без Бога это – фу!

– Нет, невозможность воплощения идеи никогда не мешала ее возникновению. И здесь дело уже не в государственности, это потом. Вот вам другая идея, опять же – идея коллеги моего, кстати, самом облеченного, Царство ему Небесное! – идея Бога сугубо индивидуальна. Она возникает у домашнего очага, в семейном уюте и, конечно же, не из страха перед природой, не вследствие умственной несостоятельности. Идея Бога суть мечта, мечта о вечности. Существо разумное, человек, впадает в отчаяние от отсутствия вечности. Он не хочет умирать, ему щемяще хорошо, тепло у семейного очага, ему кажется, ему хочется, чтоб так было, что должно быть какое-то еще высшее наслаждение, от которого никогда не устанешь, как, увы, устаешь-таки от очага семейного и всех прочих, что человек себе напридумал. У человека нет доказательств вечности, наоборот – каждодневная чья-то смерть, знание неизбежности своей должны бы убедить его, что никакой вечности нет. Но он гонит от себя эту вопиющую видимость и творит Бога невидимого, Творца всяческих, и это, по мнению сего мнения, есть высшее творение человеческого разума. И ведь творение сие даже иллюзией не назовешь. И вот теперь человек разумный на свое творение переложил ответственность за все, что сам натворил, и теперь он требует вечности после здешних мучений, воздаяния, так сказать, за то, что выдуманный Бог заставляет его себя в рамках держать. И вот тут-то и выступает человек национальный, ведь у такой идеи, а значит и всего из нее вытекающего, не может быть одинакового прочтения. Иудей-меняла не может так же смотреть на Бога, как аравийский кочевник. У утонченного, уставшего от роскоши римлянина и охотника-германца разный Бог, даже если у Него одно имя, и рамки у всех разные. Бог же для русских вроде как Суворов для солдат – и любят его и слушаться хочешь-не хочешь надо, да еще некая вечная жизнь маячит, но однако же и в атаку идти тоже надо, не отвертишься. И вот что получается, заметьте, западный человек, осознав свою конечность и отсутствие бессмертия, воспринимает это как должное, сей печальный факт не вызывает у него истерики. Русак же от сего осознания приходит в ярость. Интеллигенция наша, вот уж точно сволочь так сволочь, начинает бешено бороться с Несуществующим, призывая, заставляя всех прочих, менее грамотных, прозреть, как они. Прозрели...

– Наворотили вы тут, – сказал Дронов, – но все-таки врете вы все, вот он монастырь, вот они мы в нем.

– Ну и что? Да вы представляете себе, что такое плод воображения сотен миллионов людей, сотен поколений?! Да он же страшную силу имеет, гипнотизер же заставляет засыпать десятки людей, делать черт-те что, а тут... могла эта сила страшная, сконцентрированная в одном человеке, хоть в Спиридоне этом, заставить большевиков не видеть нас? Почему бы нет?

– Но Бог...

– Ах, оставьте, пожалуйста! Все, что можно объяснить, замечательно объясняется без Бога. Все, что объяснить нельзя, Бог не объясняет и не помогает это делать.

Дронов со страхом уже поглядел на бывшего ответственного и пробормотал вставая:

– Пойду я, Анатолий Федорыч.

– Так чаек же не допили.

– Пойду.

Бывший ответственный усмехнулся и развел руками: «Ну, тогда не смею задерживать».

Дронов вышел на свет Божий и зажмурился от солнца. Вдали он увидел Олю-маленькую, которая призывно махала ему руками.

– Надо ведь вас зашивать, Александр Дмитрич, – сказала она подошедшему поручику, – снимайте-ка вашу гимнастерочку.

– Да возможно ли ее зашить-то?

– Оля-большая все может.

– А пока что ж, мне голым ходить?

– Ну не голым, а полуголым, вот... а крестика нет на вас, Александр Дмитрич, а? – Оля-маленькая держала в руках рваную гимнастерку и смотрела на голую грудь Дронова.

– Нету, как-то... Скажи, а почему тут переодеть некого? Конфеты шоколадные есть, а толстовки какой-нибудь нет?

– Ну, монашеского же вы не наденете, а другого ничего нет.

– Да я знаю, что нет, а почему?

Оля-маленькая пожала плечами: «Ну, ладно, вы пока можете у нас посидеть, коли стесняетесь так ходить, а можете погулять. Вы ведь на кладбище еще не были».

– Не был. Я вообще-то не люблю кладбища, да и навидался я трупов.

– На кладбище нет трупов, на кладбище кресты да холмики.

– Да это я так, про те кладбища, – поручик мрачно глядел на Оле-маленькую, – где без надписей на крестах «здесь покоится такой-то», а там... идешь в атаку и видишь, лежит-покоится Петька Буянов с разваленным животом и еще другие.

– Мир праху их и Царство Небесное душам их, Александр Дмитрич, что ж еще сказать. А надписей на нашем кладбище никаких нет. Отец Спиридон говорит, что место захоронения христианина означается лишь крестом, больше ничего не нужно, вон там как раз отец Агафангел на кладбище, идите гляньте.

Маленькое кладбище было аккуратным и тихим. К тишине монастыря здесь словно добавлялась своя, особенная тишина, поглощавшая последние остатки душевных движений, связанных с внешней суетой. Здесь все внешнее просто уже не воспринималось, его вообще не было. При взгляде же на отца Агафангела внешнее сразу вспоминалось: он был огромен, красен лицом и с черными мешками под буйными, беспокойными глазами, про такого говорят: «кnavерняка пьяница».

– Увы, пил горькую. Да как еще пил, – подтвердил с унылым вздохом монах, кланяясь Дронову, – и печать онова на лице ношу.

– Да что это вы, – смущился поручик, – я и не подумал ничего.

– Подумали, вижу – подумали, и не ошиблись. И так меня, батюшка, зеленый змий обволок уже, что просто пропадал. А ведь я в иерейском сане. Вспомнить страшно, литургию ведь, прости Господи, служил на ногах еле стоя, – монах с тем же вздохом перекрестился. – И вот приходит однажды ко мне после очередной похмельной литургии старец Спиридон да и говорит: «Пойдем-ка, брат Агафангел, монастырь строить». «Да какой же, – говорю, – я Агафангел, Михаил я». А он и говорит: «Никакой ты не Михаил, а Агафангел». Вдов я был, деток Господь давно прибрал, пошел я за ним, с тех пор вот лицезрю всю мерзость окаянства своего и ужасаюсь. Страшно мне, батюшка, не представите как.

– Чего ж страшного тут? – поручик вспомнил свои слова, недавно сказанные Оле-маленькой.

– За себя страшно, батюшка, а здесь-то за себя еще страшнее, чем там, за стеной этой. Здесь всю бездну падения моего вижу, и вижу, что сил никаких нет из бездны выбраться, одна надежда на молитвы отца Спиридона. Иногда так подступит... ох, прям отчаяние находит, и вдруг отпустит – знать, молитва отца Спиридона дошла, – Агафангел поднял голову вверх и перекрестился. – Гляжу вот на кресты и о том думаю, что и я скоро под таким же крестом лягу.

– А вы знаете, кто где лежит?

– А как же, всего-то пять десятков покойничков, чего ж тут. Вот, под этим вот крестиком лежит раб Божий схимонах Иоанн, из артистов.

– Из артистов?

– Да, знаменит был, мирское имя вот забыл, но – знамени-ит! А вот и вспомнил – Саул Суховеев, так его называли.

– Суховеев?! Здесь?!

– А чего вы изумляетесь?

– Да как же... А мы еще думали, куда пропал. Вообще-то все подумали, что где-нибудь утонул пьяный.

– Отец Спиридон к нему первому пришел, меня – окаянного – не считая. Первым он и преставился. Прямо с постели пьяненького его отец Спиридон поднял. А тот прямо и заплакал вдруг: «Пропадаю, говорит, отец». Спьяну оно, бывает, нападает такое, всплакнуть вдруг хочется. Я еще подумал, грешным делом, – и куда его такого? И даже удовольствие чувствовал, что вот человека вижу, что ниже меня пал.

А отец Спиридон и говорит: да, говорит, не пропадаешь, а совсем пропал, для этого мира пропал – для горнего мира найтись должен. А он, артистик-то, собачонкой побежал за отцом Спиридоном и даже такие слова шептал: «Спаси меня, святой отец». А ведь вся Россия знала его, легенды какие про него ходили, какие кутежи, какие скандалы. У такого же страстного да безумного, как сам, ротмистра Волынского жену отбил, в срам ввел да еще и оставил при всем обществе. Да и я, если сказать... к скандалу сему, так сказать, руку приложил. Жена эта тоже здесь сейчас. На людях подрались они с ротмистром. Ротмистр бурей бушевал: тебя, кричал, плебейская собака, на дуэль срамно вызывать, я тебе просто хребет сломаю. Ну и артист наш в долг не остался, ужас что было. А вот и бывшего нашего ротмистра крестик, раба Божия инока Василия.

– Как, и он здесь?! А как же они?..

– Да что ж... – монах задумчиво развел руками. – Когда мы Глубь-трясину пешочком за отцом Спиридоном перешли и тут, на острове этом, оказались, пал артист к ногам ротмистра, схватил его за сапоги да заплакал, как младенец, вот...

Как-то неприятно вдруг стало Дронову, каким-то приторно-лубочным показался ему конец истории мужа и любовника, как в «Назидательных чтениях». Но, однако же, и правдой ведь был лубочный конец, не врал ведь инок Агафангел. Быть может, таким приторно-назидательным лубком и должны бы кончаться все наши страсти-мордасти по той самой правде, что дал нам Тот, Кто есть Истина?

– А вот могилка инженера нашего, инока Иеремии, У-ух какой тоже знаменитый был, образованный, французы ему даже премию какую-то присудили,

у-ух как он встретил отца Спиридона: белены, орал, объелся старец, какой-такой остров в Глубь-трясине, нет там никакого острова, я, говорит, вдоль и поперек эту Глубь-трясину облетывал на ероплане, меня, орал, феномен Глубь-трясины всегда интересовал. Ну, а старец наш на своем стоит: есть, говорит, остров, пойдем за мной и увидишь. А инженер-то сплюнул, обозвал старца, но пойти-то пошел, а как пришли – сутки в себя прийти не мог, все ходил, бормотал чегото. Забормочешь! Главным доглядчиком всего нашего строительства был. Вот... А одного старец наш с какой-то революционной сходки утащил, чего-то они там ужас какое секретное решали, – вот они нынче все секреты рассекретились, чтоб им, прости Господи, – ну вот, перепугались они нас до смерти, когда вошли мы к ним, прямо смех, а старец отзывает одного и говорит: «Я иду строить монастырь в Глубь-трясину и хочу, чтобы ты шел со мной». А тот-то оторопел, на лице то страх, то прям бешеный и глаз не может оторвать от старца. Вот холмик его и крест его – инок Павел, Царство ему Небесное.

– А про революцию и войну эту подлую ничего тогда не говорил старец? – спросил Дронов.

– Нет, я не знаю, чтобы он пророчествовал. А вон на скамеечке, видите, вдова нашего бравого ротмистра, почившего инока Василия. Она весь день тут проводит.

– Она тоже монахиня?

– Да какая ж монахиня, помилуйте, вы ж видите – светское на ней. Она сама пришла.

– Уже когда монастырь стоял?

– Нет, то-то и оно, тогда, когда все видели Глубь-трясину и даже фундамента еще не было. Как только исчезли ее муж да любовник, она весь город, всю округу на ноги подняла, искала. И по-моему, так сама не знала, кого ищет – артиста или ротмистра, не обоих же сразу. Вот, ну оставлю я вас, а вы сходите к ней, она вам сама расскажет, если интересно вам, она любит поговорить.

Когда Дронов подошел к ней, она медленно подняла голову и медленно стала обретать осмысленность ее отсутствующий взгляд.

– Вы новенький, – утвердительно и бесстрастно сказала женщина.

– Александр Дмитрий Дронов, – отрекомендовался поручик.

– Ну, присаживайтесь ко мне. Сколько вы мне дадите лет?

Поручик озабоченно гмыкнул:

– Гм, простите великодушно, вы очень хорошо выглядите.

– Спасибо за дипломатию, – дама кисло улыбнулась. – А мне ведь только двадцать шесть.

– Сколько?! Простите великодушно.

– Да, – дама вздохнула и улыбнулась. – А вы небось гадали, сколько сказать – пятьдесят пять или шестьдесят. Да?

– Вообще-то да.

– Всю свою красоту, всю силу им вот отдала, – дама кивнула на кресты, – и могилы их рядом, так и мечусь сейчас между могилами, как когда-то между живыми металась.

– Мне отец Агафангел рассказал немного.

– Я знаю. Представляю, чего он там наговорил.

– Да нет, что вы...

– Да ладно уж, – дама махнула рукой, – я этого Агафангела помню, когда он еще отцом Михаилом был, всегда был злозычен.

– Уверяю вас, что ничего такого...

– Да теперь все равно, а Агафангела не люблю, и ничего с этим поделать не могу. Мне, если хотите, комиссар Взвоев даже более симпатичен. Знаете комиссара?

– Слыхал.

– Я с ним рядом в трапезной сижу. А Агафангела не люблю. Не верю я, как хотите, когда бьют себя в грудь, рыдают и вопят: я пес смердящий. Ну и пес. Так что, от рыдания перестанешь им быть, что ли? Исповедь ту век ему не забуду, где все рассказала ему. Эх, чего ж теперь... А он ведь, отец Михаил, с обоими ими пьянировал, ну и ляпнул, когда уж перепились, супругу моему тайну исповеди моей. Ну, а Саул мой еще и перцу подбавил, гадости всякой, да сплошное вранье пьяное к тому ж. А я рядом была. Ох, Господи, вспомнить страшно. Подрались они тогда, я разнимать бросилась, а они на меня оба, так отколотили, еле поднялась. С тех пор Саул мне стал так отвратителен, что даже мысль появилась убить его. И тут вдруг исчезают оба. Ну как в воду канули. Я чуть с ума не сошла, и любовь к Саулу опять вспыхнула, и к мужу жалость, бухнуться в ноги ему с покаянием хотелось. Да еще исповедь моя из головы не выходила. Ну и решила я попа Михаила зарезать, коли уж ни Саула, ни благоверного моего нет. А оказывается, и Михаил пропал. А при храме, где Михаил служил, блаженненецкий был один, Яша-оборвыйш. Подхрамывает он ко мне, когда я от храма в злобе и смятении ни с чем уходила, да и говорит: «В Глубь-трясине их всех ищи». Я так и обмерла. Как, говорю, в Глубь-трясине? Утонули?! Утонули, говорит, утонули грехи их в Глубь-

трясине, а сами живы они. Я этого Яшу за плечи схватила да прямо поедом его глазами ем, ищу в них, понять хочу, чего это он наговорил. А он скользь от меня, да бегом. Ничего больше от него не добилась. Ну, наметалась я, намаялась, извелаась так, что уж некуда дальше, ну и оказалась в один прекрасный или ужасный момент перед Глубь-трясиной. Стою я перед болотом этим страшным и чувствую, непонятно чем, но твердо чувствую, что там они и – живые. И сказала я: «Эх, Господи, будь что будет!» – и пошла. И пошла! И не скажу даже, что вера во мне была, но что-то исступленно-могучее, я прямо физически это в себечувствовала, ну... знание, уверенность, что там они и что дойду я, не утону.

– Наверное, это и есть вера?

– Не знаю, – дама грустно вздохнула и пожала плечами. – Какая во мне вера, когда с двумя жила, а к третьему приценивалась? И вы знаете, вот здесь уже, сейчас, смотрю я на свою прошлую жизнь и ни о чем не жалею. Саул меня одарил самыми счастливыми минутами жизни. А ведь грех это. Мне бы каяться надо. А я каюсь в том, что не могу каяться. И мужа своего я любила, особенно после того скандала, когда Саула возненавидела... Ну вот и свалилась я на них, как снег на голову. Стройка тут вовсю разворачивалась, ну а я как дошла, будто бес в меня какой вселился, первое, что я сделала, это вцепилась в волосы Саулу, чуть ухо ему не отгрызла. А он и не защищался. Едва муж мой оттащил меня, оттащил, а я и на него кинулась, еще больше ему досталось, теперь Саул оттаскивал. Ну, тут я обессилела, упала на землю и расплакалась. Очнулась, вижу лицо старца, и говорит он мне: «Сейчас тебе, мать, нечего тут делать, назад иди». А я ему: «Не могу я никуда отсюда уйти и не хочу». А он мне: «Ну тогда муж твой тебя отнесет». И накрывает меня епитрахилью и говорит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Чувствую, сон на меня наваливается и бороться с ним сил нету. Очнулась, вижу, лежу я у Глубь-трясины на том самом месте, откуда вошла в нее. Вскочила, таращусь на болото – да уж не приснилось ли мне все это, стою, сердце ноет, на душе тоска. Ну, думаю, один раз прошла, коли не приснилось – еще раз пройду. Ну и пошла. Шаг сделала и по грудь в трясину ушла. Упас Господь, ребятишки мимошли – слегу подали. Потом... Что потом? Сплошной дурной сон потом, обрывки ужаса, даже в сумасшедший дом клали. А теперь думаю – и зачем я им всем говорила, что видела, что до острова дошла, которого нет? Чего хотела? Ну поверили бы мне, сказали бы: «Ну ладно, есть стройка в Глубь-трясине, строят монастырь». Ну а дальше-то что? Все равно невидимо все это. А может быть, поверив – увидели бы? Но ведь я-то там бывала – не видела его! А только кричала всем – строят, строят, люди там! Ну и докричалась до сумасшедшего дома. Ну а после, уж сколько времени прошло, вижу старца во сне – зовет. Я бегом к Глубь-трясине и вижу – монастырь стоит. Я бегом туда. И вот эти два крестика увидала вместо гусар моих. Опять на меня бешенство нашло, чуть Саула из могилы не выдернула, монахи удержали. Такое на меня иногда и сейчас накатывает, хоть и

остыло все уже. Так и живу... А вообще-то мне кажется, что этот монастырь только для меня... Утомила я вас. Ну а теперь вы расскажите что-нибудь о себе.

– Да что ж о себе, о себе нечего... Как в четырнадцатом окончил училище, так с тех пор кроме войны ничего и не видел. И кажется, что она вечно была и вечно будет, война эта подлая. Одного хочется: чтоб кончилось все это поскорей. И если не нашей победой, то чтоб умереть до их торжества.

– Я тоже теперь одного хочу – лечь между ними, гусарами моими, пока старец жив. Ну идите, а я тут посижу повздыхаю. Побрел поручик среди крестов, и вновь тишина наплыла на него. Сколько страстей, сколько безумия погребено здесь вместе с телами, сколько безумных страстей носится, выижится там, за стеной, и как тихо и спокойно здесь. И вдруг Дронов как-то сразу, в мгновение ока, понял, увидел и почувствовал, что все вместе взятые плоды застенных безумных «вьюг» не стоят и мгновения того душевного мира и покоя, что вот сейчас вдруг, неожиданно, он ощущил в себе. Никогда в своей жизни не испытывал он ничего подобного: то, что чувствовал он, было непостижимо и необъяснимо словами, да и постигать и объяснять – совершенно ни к чему, нужно чувствовать и жить этим. В голове не было никаких мыслей, да они и не нужны, оказывается, вовсе; глаза были закрыты – к чему созерцать внешнее, когда внутреннее зрение зрит то высшее, что внутри нас есть – то единственное, чем только и стоит обладать и что горше всего потерять, ибо потеря эта не восполнима ничем. В том ощущении, в которое погружен был поручик, не было места ни войне этой подлой, ни «красному» брату, ничему вообще, все прошлое исчезло. И даже тишина монастырского кладбища отступила перед тишиной в душе, заполнившей собой все...

– А здесь наш владыко-приведенец живет, – вдруг донесся из какого-то дальнего далека голос Оли-маленькой. – Александр Дмитрич! Что с вами? Вы что глаза закрыли?

Как в тумане простояла закрытая дверь и рядом с ней знакомая худая фигурка.

– Вам плохо? – вновь послышался ее обеспокоенный голос уже не издалека.

– Нет, Оля-маленькая, мне, наоборот, слишком хорошо... только что было... Сам не пойму... ушло, – поручик огляделся вокруг, будто в поисках того, что ушло. Шумно выдохнул.

– Что вы так оглядываетесь, Александр Дмитрич?

– Ищу... Я... Что-то со мной сейчас было, не пойму. И тошно сейчас, что ушло оно, ох тошно.

– Ой, Александр Дмитрич, да вы прямо лицом изменились.

– Ох, плохо, Оля-маленькая.

– Да вы что, здесь плохо? О чём вы?!

– Ох! – еще более шумно вздохнул Дронов. – Не объяснить, накатило на меня... Может, из Царства Небесного ветер. А?

Оля-маленькая долгим, внимательным взглядом оглядела Дронова и сказала тихо:

– Да, может быть... точно – ветер, налетит и унесет ввысь, такую высь... и блаженствуешь и – страшно, а кончится – еще страшнее, что кончилось. И никогда здесь больше не повторится.

– Никогда? А ты знаешь, что это? У тебя было?

– Было. Это у всех здесь было.

– Но почему никогда? Я не хочу этого терять! Но... уже потерял.

– Вы что так зло, Александр Дмитрич? Это вы на кого?

– Да, зло, зло я сказал, этого нельзя отнимать. Будто подразнили и отняли.

– Отец Спиридон говорит, что это и не отнимается, просто нам нечем это удержать. Вы ж сами сказали, что это из Царства Небесного ветер. А здесь земля.

– М-да, земля, – опять шумно вздохнул, – ну ладно... так чья, говоришь, это дверь?

– А владыки Алексия, он тут как в затворе. Зайти можно, но лучше не входить, он всем одно и то же говорит; «Прошу ваших молитв и прошу также оставить меня, сказать мне вам нечего, силы мои иссякают, а гордыня моя еще не побеждена». Вот. А в келье у него хорошо, прямо кажется, что за стенами ее никого и ничего нет, тихо, покойно, он очень хороший человек, владыко Алексий.

– Люди, люди на конях, сюда скачут! – раздался вдруг крик со стены. Кольнуло в сердце, в голову ударило, в бок полоснуло, встрепенулся поручик, дернулся навстречу крику: «Это штурм, конец невидимке...»

Со стены по ступенькам спускался стяжкой монашек.

– Еще двое, на конях, – сообщил он поручику и Оле-маленькой и поспешил к большим стенным воротам. Оля-маленькая и поручик пошли следом.

– А вы что подумали, Александр Дмитрич? Что те на штурм пошли? – спросила Оля-маленькая. – Вы прямо всколыхнулись весь.

– Подумал. Да уж скорей бы.

– Что вы говорите такое, Александр Дмитрич!

– Да что ж, раз не миновать этого, так уж и вправду скорей бы. А то ведь так ждать да дергаться – нервы мотать...

— А вы не ждите ничего, не дергайтесь, нервы не мотайте. Живите просто.

— Это просто сказать, а жить просто совсем не просто. Если б еще тот ветер подул, да, видимо, не дождешься.

— А вы молитесь о здравии старца.

— Да ты смеешься, Оля-маленькая? Мне? За него?

— И вовсе не смеюсь — да вам, да за него. Я же молюсь за него, и все тут молятся, а чем вы хуже? А уж как Бог рассудит, это Его дело.

Тут заскрипели открываемые старичком ворота. Двое молодых офицеров в белоснежных гимнастерках с черными двуглавыми орлами на золотых погонах держали под уздцы своих коней — серого и вороного. Серого держал светловолосый голубоглазый богатырь-красавец, при взгляде на которого поручик Дронов едва не вскрикнул.

Старичок монашек сделал приглашающий жест рукой и сказал кланяясь:

— Милости просим, люди добрые, пожалте, проходите и лошадок своих ведите, всех устроим.

— Мир обители вашей, благодарим, — ответил белобородый и двинулся в ворота, за ним пошел второй, успокоительно цокая на своего упиравшегося вороного.

— Вы не узнаете меня? — спросил Дронов светлобородого. Тот внимательно взгляделся в Дронова и пожал плечами: — Прошу простить, не узнаю.

— А я вас сразу узнал. Вы меня из подвала спасли в Новоспасском, в Москве, помните?

— Новоспасский монастырь помню, дверь тогда пришлось сломать, а вот вас, простите...

— Да, конечно же, нас же двадцать человек там набито было. Господи, как тесен мир. Позвольте пожать вашу руку и сказать...

— Простите, Христа ради, — белобородый перебил Дронова, — руку вашу я с удовольствием пожму, а говорить ничего не надо. Да, двадцать ушло, а двадцать тысяч осталось.

Он говорил мягким, бархатистым баритоном, глядя на Дронова умными печальными глазами.

— Ну вот и хорошо, — подошел старичок монашек, закрывший ворота. — Гостями будете. Это вот тоже воин, не смотри, что в полуголыше, — он тронул за руку Дронова, — он уже давно у нас, с самого утра, он вам все расскажет. Да щас небось набегут — с конями-то вы первые у нас.

И точно, несколько человек уже спешили к ним. Среди них Дронов увидел полковника, Взвоева с обожженным, Олю-большую, несшую его гимнастерку, поэта; по стене в их сторону медленно шествовал профессор Карелин.

— Так скажите же мне имя ваше, — обратился Дронов к белобородому.

— Имя мое Иван, Иван Григорьевич Загряжский, а это, рекомендую, друг мой, Василий Безобразов.

— Вы — Загряжский? Это вы отдельным добровольческим командуете?

— Я.

— Наслышен я про вас. А я в двенадцатом служу. Служил. Здесь вот теперь.

— Князь! Иван Григорьевич! Ну! Теперь можно их самих штурмовать! — раздался за спиной Загряжского голос подошедшего полковника.

Загряжский обернулся:

— Иван Семеныч? А по вас уж панихиды заочно служат.

— А я жив.

— Вот встреча! Ужасно рад. Пленный один клялся и божился, что вы в Глубь-трясину бросились.

— Правильно клялся, только не в Глубь-трясину я бросился, а сюда, в монастырь. Это для них Глубь-трясина, а для нас — монастырь. Мы невидимки для них.

— Я это понял, когда сквозь деревню прорывались. Однако как же это?

— Да кто ж его знает как, — полковник развел руками. — Чудо Божье молитвами старца Спиридона. Больше нечего сказать.

— Потрясающее, — прошептал Безобразов. В отличие от Загряжского, лицо которого выражало сосредоточенность и спокойствие и, по-видимому, всегда таковым оставалось, что бы он ни чувствовал, Безобразов был крайне потрясен.

— А что там за стенами, Иван Григорьевич? — спросил полковник.

— Да ничего, держимся пока, — рассеянно ответил Безобразов, не отвлекаясь от созерцания всего, что виделось вокруг.

— Плохо, — сказал Загряжский. — Ваш полк вчистую разбит, Иван Семеныч, остатки в мой влились. И двенадцатый тоже. Если до послезавтра к Заречинску не отйдем, в клещах окажемся.

— Но вы-то как сюда?

— Мост через Знаменку подрывали, а до моих позиций через эту деревню самый прямой путь.

– Не понял. Как мост подрывали? – полковник недоуменно воззрился на Загряжского. – Вы, комполка, мост пробирались подрывать? Хотя... на вас это похоже, – полковник улыбнулся и покачал головой.

– Необходимость, Иван Семеныч. В полку за себя я Крутого оставил, вы его должны знать, орел и умница, с полком он справится, а вот с мостом... – Загряжский на мгновение будто задумался и движение нижней губой сделал, – пожалуй, лучше нас с Василием никто бы не разобрался. Дело в том, что вся полевая артиллерия, пол-кавалерии, все броневики и бронепоезд на той стороне. На той они теперь и останутся, и нашему прорыву успех обеспечен. Операция стоила того.

– Погодите, это какой же мост? Не у Перелюба ли? Что-то я других мостов тут не упомню.

– Он самый.

– Там у них штаб армии был.

– Там же и остался.

– Так там же за пять верст от моста мертвая земля, запретная зона, выселили всех, там чоновцев да чекистов, что комаров в этой Болотной...

– Вообще-то их там много.

– А вы вдвоем?

– Не вдвоем, а вдесятером, – сказал тут Безобразов, – еще два коня, да каких коня! Да два револьвера, да две винтовки, да две шашки – вот и десять. А бинокли? Да бинокль в руках Ивана взвода стоит. А кулаки? Ну мои за полтора каждый сойдет, а уж княжеские-то – не меньше чем по пять, – еще тринадцать плюс. Мы ж на мост состав со снарядами выкатили, точнее – сами они выкатили, ха, их диспетчера Иван очень попросил, он и выкатил, ну и из шестидюймовки – по составу; расчет шестидюймовки мы тоже очень попросили, не самим, в самом деле, стрелять, руки марать.

– Перестань, Василий, – тихо и серьезно сказал князь.

– Погоня была? – спросил поручик.

Загряжский кивнул.

– Да уж можно себе представить, такой мост потерять, – сказал полковник.

Безобразов почесал за ухом и сказал со вздохом:

– Вообще-то когда сквозь деревню рвались, я думал – все... ну в монастыре-то точно они должны быть! А мы ж прямо на него скакали, больше некуда. И вдруг как обрезало, вся орава их на краю поляны осталась. Вот уж чудо так чудо.

– Теперь и про вас будут клясться и божиться что в Глубь-трясине утонули.

– Да они ж и сейчас небось толпятся там, – воскликнул Безобразов. – Со стены можно глянуть?

– Ну а чего ж нельзя? – удивился полковник.

– А те не увидят?

Тут все окружающие расхочатались – столько было на его лице детского удивления и даже страха – не за себя страха, ибо вряд ли этот человек знал такой страх, а страха перед громадой зримого чуда. Улыбнулся и сам Безобразов и весело воскликнул:

– Ну тогда все пошли.

И все, кто был рядом, заспешили к лестнице, впереди всех Оля-маленькая. Все в деревне пребывало в движении, а на краю поляны стояла громадная гомонящая толпа, таращилась на монастырь, орала и страстно жестикулировала. Все поднявшиеся на стену молча созерцали эту картину. Жутко, в общем, было смотреть на это страшное орущее, слепое войско. Страшно, когда на тебя смотрят несумасшедшими глазами и не видят, ибо так быть не может. И вот так было.

Князь Загряжский стоял впереди всех у самого края стены, носки его сапог даже выступали за нее. Так получилось, что все стояли чуть сзади него, лица его никому не было видно, но через какое-то время почему-то все стоявшие обратили свои взгляды на него. А он все стоял и смотрел, и смотрел, а все, кто сзади, – смотрели на него, и со стороны могло показаться даже, что они ждут от него какого-то важного решения. Наверное, так смотрели солдаты на Суворова, когда он стоял на возвышении и вглядывался в неприятеля, оценивая его маневр. Но, конечно же, так только казалось. Ни Дронов, ни полковник, ни обе Оли, ни другие ничего не ждали от него. Да и чего тут можно ждать, просто притянула к себе чем-то их взгляды фигура князя, чем-то необъяснимым, но ощущимым и сильным. А он и не чувствовал, наверное, их взглядов и что-то свое переживал. И вдруг среди тишины на стене послышался всхлип, а затем раздался надрывный крик Оли-маленькой:

– Почему?! За что они на нас так, а?!

Выкрикнув, она закрыла резким движением лицо ладонями и, опустив голову, бросилась было бежать так, но попала в объятия Оли-большой. И зарыдала на ее груди.

Среди тишины и плача полковник спросил:

– Князь, вы остаетесь с нами?

Загряжский отрицательно мотнул головой и затем медленно повернулся ко всем. Глядя полковнику в глаза, сказал:

– Нет, Иван Семеныч, не останусь. Полк на мне. Там ждут меня. Каждому свой путь. Если б со мной как с вами случилось, то остался бы.

– Я думаю, за то, что со мной вот так случилось, я еще отвечу. И уж скорей бы. Нет, князь, молчите!.. Есть мне за что отвечать! В гибели полка я виноват, какой я, к черту, полковник!

– Иван Семеныч!..

– Я знаю, что говорю, князь.

– Ваш полк геройски дрался. И двенадцатый тоже. Уборевичу досталось, и весьма. Я думаю, полков около пяти от одних нас с вами он недосчитался. Но их так много. Будто вся Россия навалилась.

– Да, – вдруг громко прошептал поэт, горя глазами, – да, навалилась... – и скрежещущим полушепотом стал декламировать:

Разделилась неделимая, единая,
Развалилась на смердящие осколки,
Навалилась, погребла, неумолимая...
Стали люди – бешеные волки.

– А вправду, за что?! Ну вот вы, князь, вы мне скажите, вы ж не они, – поэт яростно выкинул руку куда-то назад, имея в виду, видно, Ивана Иларионыча, – вы-то все понимаете! Ну воспевал я плотскую любовь, ну изменял жене... Ну пальнул я пару раз по Церкви да по царству, ну и даже по особе императорской... но... но... но ведь не со зла я, не со зла! Не по-настоящему! Блажил ведь, корчил из себя!.. Перед публикой, перед бабами выпендривался. Не хотел я ничего этого! Но ведь Он-то, Он там, наверху, знал и знает ведь все это! Разве за блажь, за дурь, за выпендривание так наказывают? Им-то ведь, тем вон орущим, я ничего-шень-ки вот на сто-олечко вот плохого не сделал. Или они бич Божий? Девочку вот эту вот за что этот бич поганый чуть не испоганил и не уничтожил? А?! Ну объясните мне, Христа ради, объясните, князь! Успокойте меня, понять хочу, а то ведь со стены скоро вниз головой брошусь.

– Я отвечу вам, а успокоить не успокою. А вниз головой, конечно же, не бросайтесь. Тем более с этой стены. То, что вы здесь, это ведь и значит, что Он простил вам вашу блажь. Простите, я ничего вашего не читал...

– Как не читали? – поэт удивленно вскинул брови и тоскливо отчаяние пропало с его лица.

– Да так. Я стихов совсем не читал. Не интересно. Так вот что я вам отвечу: когда разорили мое имение и я прибыл туда на Султане своем... Просто мимо ехал, защемило вдруг, заглянул. Подъехал я к пепелищу, с коня не слезаю, гляжу. Крыльцо с колоннами цело, а на крыльце игрушка моя детская стоит – серая деревянная лошадка на колесах, тоже Султан, как и нынешний мой серый. Эта игрушка вроде как талисманом дома была, уж взрослым был, а берег ее, этот конь для меня как живой был. Собираются, подходят эти... крестьяне и прочие жители, разорители, сзади меня стоят, молчат, в спину мне смотрят... Толпа уже... Поворачиваю Султана. На котором сижу. Гляжу на них. Остыли уже, глаза прячут. А один не прячет, зло смотрит. Гляжу на него, спрашиваю: «Что я тебе плохого сделал? Зачем дом разорял?» И вижу я, ярость его нечеловеческая душит, аж задыхается. И отвечает: «А ничего ты мне плохого не сделал, а просто я хочу быть на твоем месте». На моем, значит. Говорит, обижен я Богом, не рожден князем, так вот этими вот – руки выставляет – обиду свою исправлю. Умные люди, говорит, глаза открыли, что ты мне больший враг, чем германец: германцев победив, я князем не стану, а тебя разорив, я – властелин, и душа моя поет оттого. Умные люди, говорю, обманули тебя, за песнь минутную сатанинскую на погибель душа твоя себя обрекла. Все награбленное от всех князей все равно поровну не переделите, себе же глотки перегрызете, а тем умным людям все и достанется: и золото, и души ваши глупые, поющие. Вижу – слова мои как от стенки горох. Вот тогда я понял вдруг, в чем виноват. Нет, не понял даже, а прилетело, осенило, если хотите. Сам понять я ничего не мог, первое мгновение за шашку хотелось взяться. И вот тут-то, слава Богу, и прилетело, в дрожь бросило, страшно стало. Вся вина моя и всех нас оголилась. Впрочем... причем здесь «нас» – моя и только моя. Чего не мог я раньше, не могу и теперь – ярость, ненависть бесовскую этого вот душой от пожара поющего и иже с ним любовью своей покрыть, нет у меня такой любви, и вообще никакой любви нет. А должна быть. В том-то ведь и неравенство, в том-то ведь и различие между мной и им, что мне дано больше и по рождению и по природе, на то и должно употребиться княжеское мое возвышение, чтобы такую любовь всепокрывающую в себе творить. Я этого не сделал. Ядовитые слова тех умных людей любовь моя покрыть бы должна, а нечем покрывать.

– Это все общие слова, князь! – вскричал поэт. Опять его лицо оседлало тоскливо отчаянье. – Вы солдат, ваше ремесло – убивать, о какой любви вы толкуете? Свобода воли! О ней все попы со всех амвонов всем все уши прожужжали. Ее даже Бог не трогает, а вы собираетесь ее своей любовью покрыть! Да плевать он хотел, этот поющий, на все, если его свободе воли ядовитые слова тех умных людей понравились. Он выбрал это! Выбор человеческий, решение воли чем покрыть можно? Свобода воли миллионов, выбравших штурм и разрушение естественных устоев! – что этой адской силе можно противопоставить?! И я, осел, еще подывал этому! Какая там любовь, князь, бейте их, пока сила есть, только

силой эту проклятую свободу воли взбесившихся миллионов своротить можно. Жену любите, а этого поющего шашкой бы надо было, жаль, не послушались вы мгновения, к таким мгновениям прислушиваться надо, такие мгновения историю делают. А остальные б разбежались, и потом бы каждый из них башку б потер, подумал бы, стоит ли поджог учинять, коли в вашей руке шашка и рука не шутит!

– Отвечу я вам, – сказал спокойно князь. – Не только любви в нас нет, о которой я говорил, но и силы нет, о которой вы говорите. Вот вам о силе: коли восстали миллионы в бунте неправедном, то моей одной шашкой не обойтись. Когда враг вовне – за одного солдата сто человек, за которых он дерется, молятся, помогают ему, чем могут. А если он озверел и на своих попер, да еще из этих своих на свою сторону не одного привлек? Что я тут стою со своей шашкой без вас? Вы все должны стать солдатами, коль такая смута пошла. А вы стали ими? Буду я их рубить, мгновениям подчиняться, как вы советуете, так на их же крови и поскользнусь и затопчу меня. И руки не подадите помочь подняться, отвернетесь, испугаетесь. Да так, видимо, и будет. В восемнадцатом остановил я поезд с беженцами. Кто из Москвы, кто из Питера, из Тулы, из Смоленска, отовсюду были. Пятнадцать вагонов битком набиты вашим братом. Вырвались из большевистского плена. Осень была, вполне уже ясно было, кто они такие, чего хотят, на что способны. А остановил я вот почему: нужно было человек сто хотя бы, пусть без военного умения, но оно у каждого мужчины в крови! Риск для них был минимальный, видимость войска нужна была. Рядом в Перегудове три тысячи офицеров и около пяти тысяч гражданских заложниками сидело. Попались, поверили, как мы тогда в Москве, когда все Новоспасскими подвалами кончилось. И всего-то меньше батальона этой сволочи против нас с Безобразовым. Упросил всех выйти из вагонов, речь сказал. Второй раз в жизни. И последний. Так меня же и обругали господа беженцы, особенно адвокат один изголялся, фамилию свою сказал даже, забыл я. Как смел, по какому праву, поезд остановить, самоуправство-де... Не то что сто, одного не набрал. Как были мы вдвоем с Безобразовым, так и остались.

– И что же заложники? – спросил Дронов.

– Заложников освободили. А поезд от меня укатил без потерь. Потери после были: сначала анархисты его остановили, потом матросня революционная со встречного состава – братишки бывшего Черноморского флота ехали куда-то по ревделам, потом ВасяВасилек, потом некая Лизок-Лезвице с какими-то каторжными, потом лесной батька, потом степной, а потом еще какие-то зеленые – расперло нечисть российскую на ревдрожжах, кого только не повылезило. Ну так вот, до Ростова из того поезда доехало как раз человек сто. И я представляю, до какой степени эти оставшиеся сто напуганы теперь. Теперь, думаю, они где-нибудь в Европе, без оглядки, скорее всего, драпанули подальше от всего этого. Да,

пожалуй, и правильно, я их понимаю. Нынче уже поздно это для многих желающих, нынче от Москвы до Ростова уже не доедешь. Это о силе. А теперь еще раз о любви. И последний. Разговорился я сегодня. Это не общие слова, господин... простите, не имею чести...

– Константином меня зовут, – сказал поэт.

– Так вот, господин Константин, все перечислено апостолом Павлом, что даровано нам свыше, – и пророчество, и чудотворение, и целительство, и учительство, а про любовь сказано: а если при всем при этом любви не имеете... Всем, а не избранным, изначально дарована любовь, дарована, а не имеем. С ней нам хлопотно. И я, как и все, о любви вспомнил, когда заполыхало. Горничная у нас была, Груня. Я почти не замечал ее, мне казалось, что у нее ко мне какая-то затаенная неприязнь. Неизвестно почему, теперь вспоминаются мне настороженные взгляды ее, да что теперь Теперь она комиссар, да такой... Попадись мне теперь – без сомнения пополам бы разодрал. И будь в нашем доме христианская любовь – не была бы она комиссаром, так мне кажется.

– Слушай, князь, – воскликнул тут Взвоев, – Груня... это ж не Аграфена ли наша? Желжена-Аграфена, у Дронова особым отделом комиссарит.

– Она. А желжена – железная женщина?

– Точно.

– Да, железная...

– Погодите, – встрепенулся поручик, – у какого это Дронова?

– Известно какого, – сказал Взвоев. – Кто ж Дронова не знает? Комкор отдельного.

– Не Иваном Дмитричем зовут?

– Точно. Знаком?

– Это брат мой.

Загряжский быстро перевел взгляд на Дронова и столь же быстро опустил его. И затем сказал:

– Комкор! Велик соблазн... Как мне однокашничек один сказал: «А что, у них тоже армия». А ведь и прав – армия же. Дивизией командует. А мы вот с вами в поручиках остались, – Загряжский вдруг улыбнулся.

– Вы ж полком командуете, – удивился Дронов.

– Полком командую, а в звании поручика останусь. Знаки различия мне лично государь убиенный вручал. Ни от кого больше чина не приму. Его нет – так и быть мне поручиком. Потому орлов и ношу на погонах.

– Но ведь и орлов больше нет, – вкрадчиво сказал поэт.

– Орлы всегда есть.

– Слу-у-шай, князь, а ты меня не узнаешь?

И князь и все остальные разом повернули головы к вопрошившему так. Это был Взвоеv. Загряжский все тем же своим взглядом смотрел на Взвоеva и после минутного молчания отрицательно мотнул головой, ничего не сказав.

– Митрофаньевский монастырь...

По тому, как в мгновение изменилось лицо князя и через мгновение стало каким и было, ясно стало – вспомнил, узнал.

– Не смотри так, князь, – хрипло проговорил Взвоеv. – А вообще-то... что ж там, смотри не смотри... пули мне мало, знаю... Милостив Бог... и вот сейчас вижу – кровь и трупы... горше пули, князь... тебе ж благодаря жив я тогда остался. Как шарахнулся ты мне тогда, и откуда ты только взялся, я ж все сплошняком простреливал; ну я от пулемета кувыркнулся, а ты как пулемет-то развернул против наших, так обо мне и забыл, видать, а я оклемался, уполз потом. Я чего запомнил – лицо твое запомнил, вижу кулачище у морды своей и лицо твое – вот в точности такое, как сейчас. У тебя, видать, и когда обедаешь, и когда в морду бьешь – все одно и то же на лице. И еще вот чего скажу я, не в обиду будь сказано: потому вам, белякам, и не фортит, что Деникин у вас в главкомах, а ты в поручиках.

Князь помолчал немного, глядя вниз, и затем заговорил чуть изменившимся голосом:

– Я весь город тогда согнал к монастырю. Именно согнал – упирались, не шли.

– Зачем? – спросила Оля-большая. И при этом сокрушенно покачала головой.

– А затем, чтоб видели. Это видеть надо. После видения этого человек должен или идти в монахи, или идти к нам и винтовку в руки брать. Третьего не дано. И как раз третье и избрали жители – отворачиваясь и закрывая глаза, разбежались по своим норам, потому как страшно. И мне страшно. От этого всего.

– Не слишком ли вы много требуете от людей, князь? – опять спросила Оля-большая.

– Я ничего не требую, прошу простить, – Загряжский поднял глаза на Олю-большую. – Я призывал их идти к нам.

– Не пошли?

– Не пошли.

– И в монахи не пошли?

– В монахи не мне звать. Они пошли потом к большевикам, когда те вернулись. Взяли заложников и в обещанный срок расстреляли. Опять взяли и – полный успех мобилизации. Это все про ту же силу, господин Константин.

Тут опять заговорил Взвоев:

– Чо хочу сказать, князь. Виши – здесь я, больше мне нечего сказать. Еще одна Божья милость, что тебя вижу. Хочу... прости за все, князь. Как услыхал, что ты не остаешься, всколыхнулось – и я с тобой... Но нет, нельзя мне туда, за стену, здесь останусь, здесь помру, а тебе хочу... прошу тебя руку мне дать напоследок. Коль сможешь. Теперь только на том свете Господь сведет. Поминай меня, пока жив, меня тоже Иваном зовут.

Князь молча, неотрывно глядя Взвоеву в глаза, подал ему руку, потом притянул его к себе и крепко обнял. Затем отодвинул его и отвернулся лицом к деревне. И вдруг напрягся весь, вглядываясь. И произнес тихо: «Груня!» И все, кто был на стене, обратили взоры туда. Какая-то фигура в кожаном рвалась к поляне, а ее держали, и еще несколько человек суетились около. В бинокль с трудом можно было разобрать, что у фигуры женское лицо с короткой стрижкой, остальное – кожа и галифе.

– По-моему, она видит монастырь, – сказал Загряжский.

– Ага, – подтвердил Взвоев, передавая дальше безобразовский бинокль, – и доказывает своим, что перед ними не трясины, а монастырь. А те думают, свихнулась Аграфена. Чудеса – Аграфена и вдруг видит.

– Мы-то с тобой увидели, – пробурчал обожженный.

– Безобразов, – сказал князь, – дай-ка винтовку.

– Нет, Иван Григорьевич, не надо, – отозвался полковник.

– Пули отсюда не летят, я уже пробовал.

– Точно-точно, не летят, – послышался сзади голос.

Все обернулись и увидели старца. Келейник, не менее старый на вид, поддерживал его слева. Впервые увидел его Дронов, и ему показалось, что ничего приметного, ничего выдающегося нет в его лице: видел он и старых таких, и белобородых таких, и ласковоглазых таких. Все поспешили под благословение. Дронов подошел вслед за Олей-большой, за ним были Безобразов и Загряжский. Вблизи старец также не произвел на Дронова того впечатления, которого он ждал. Загряжскому же старец сказал:

– Имею к тебе просьбу, воин.

– Слушаю вас, батюшка.

– Девочку вот эту возьми с собой.

Оля-маленькая встрепенулась и бросилась к старцу. С отчаяньем на лице схватила его за руку:

– Что вы, батюшка! Я с вами... я здесь останусь, не хочу я туда! Умру пусть, но здесь, что вы!

– Да ты погоди, – старец положил руку ей на голову. – Думаешь, я тебя на легкоту какую отпускаю? Не-ет, тебе там тяжко будет. И хорошо будет. – Он придинул ее голову к своим губам и что-то зашептал ей. Оля-маленькая, потупившись, слушала, потом кивнула покорно, вытирая слезу.

Старец вторично накрыл ее голову епитрахилью. Затем выпрямился и сказал сколько мог громко:

– Будем смотреть, братие, владыко Алексий за мученическим венцом пошел – слово Божие безбожникам нести.

Сначала все замерли, недоуменно уставились на старца, а затем поворотили взгляды туда, куда глядел старец: владыко Алексий в черном клобуке с крестом, с панагией на груди, в развевающейся мантии выходил из ворот.

– Ой, Господи! – воскликнула Оля-маленькая и кулачки ее вмялись в щеки. – Ведь убьют они его, батюшка, ведь из тюрьмы ж вы его...

Ничего не сказал старец, молча продолжал глядеть. Полчаса назад явился к нему владыко в полном облачении. Явился и упал в ноги, и как ни просил Спиридон, как ни поднимал его – не поднялся и одно и то же говорил: «Благослови идти туда проповедь, призыв к покаянию сказать. Неспокойно мне здесь стало, отче, чую, не затвора от меня Бог хочет». – «Чуешь?» – «Да, отче. Прости за все и благослови». – «Да как мне, иеромонаху худому, епископа благословлять?» – «Знаю, что говорю, благослови!» – «Когда яс идти надумал?» – «Сразу, как благословишь!» – «Благословляю тебя на путь избранный во имя Отца и Сына и Святого Духа». Поднялся архиепископ, поклонился и пошел.

– Батюшка, эх, благослови, а, мы с Иваном прикроем его, а, слышь, князь! – Безобразов рванулся к старцу. Загряжский поймал правой рукой его плечо и прижал к себе. Безобразов еще было дернулся, но вырваться было невозможно.

До конца поляны, то бишь Глубь-трясины, оставалось архиепископу несколько шагов. Выходил он прямо на бесновавшуюся, вырывавшуюся из рук соратников Желжену-Аграфену. Все до единого обитатели монастыря, включая ответственного синодала Анатolia Федорыча и мятущуюся вдову, были на стене.

Видимо, он возник для них прямо из воздуха, не было и вдруг – стоит архиепископ в полном облачении, а сзади него Глубь-трясина. И комиссар Груня, и все вокруг нее застыли от неожиданности. Кто был неподалеку, тоже сначала

застывал, затем начинал оторопело подходить. Вокруг владыки собирались и росла толпа. Аграфена и ее окружение, оказавшиеся впереди всех перед владыкой, продолжали стоять неподвижно, не делая ни шагу вперед. Полукруг, метров пяти диаметром, так и оставался между владыкой и растущей толпой. Владыко поднял руки и, по-видимому, начал говорить. В бинокль хорошо были видны испуганные, недоумевающие лица красноармейцев. Они крутили головами, переводя взгляды то на владыку, то на невидимый монастырь. Наконец Желженя-Аграфена с маузером в руке стала приближаться к архиепископу. Подошла, взяла за бороду. Справа от владыки в толпе всколыхнулось, зашумело что-то. Груня отпустила владыкину бороду, резко туда обернулась и выстрелила из маузера в землю, что-то грозное при этом выкрикнув. Справа стихло. Груня обвела глазами всех и сказала, по-видимому, что-то еще более грозное. Но тут от толпы отделилась фигурка красноармейца и двинулась в сторону Груни. Судя по жестам и гримасе на лице, видимым только в бинокль, он что-то гневно выговаривал Груне, указывая пальцем на владыку. Справа от владыки, а также в разных местах толпы вновь зашумело. Теперь владыка поднял обе руки, как бы простирая их над толпой, и сказал что-то такое, что свело на нет грозные Аграфенины выкрики и выстрел в землю. Левая рука владыки указывала теперь на монастырь, а правая по-прежнему была распростерта над толпой. И тут Груня приняла решение. Первым выстрелом она уложила щуплую фигурку подступившего к ней красноармейца, а вторым – архиепископа Алексия, обоих в голову. Владыко, раскинув руки, упал навзничь да так и остался лежать. В бинокль видно было, как кровь, хлынувшая из дырки во лбу, заливает лицо и бороду. Шум стих, а Груня, потрясая маузером, закричала что-то совсем уж грозное.

– Мир мученикам, – произнес старец и перекрестился. Все рядом стоявшие перекрестились тоже. Из затихшей толпы вышли двое и по Груниной команде подняли архиепископа, раскачали и бросили на поляну.

– Утопили в трясине, – сказала Оля-маленькая.

Вскоре, понукаемая Желженой-Аграфеной, толпа разошлась. Сама, совместно с соратниками, что недавно удерживали ее, уходила последней. Уже, изрядно отойдя, она вдруг оглянулась. Глядя на нее, оглянулись и соратники. Довольно долго созерцала она тело владыки Алексия. В бинокли в это время смотрели Загряжский и поэт, оба бинокля были направлены на лицо Груни. Вдруг руки у поэта задрожали, едва бинокль он не выронил... кто-то подхватил, он сел на каменный зубец стены, закрыл лицо руками и заплакал-зарыдал.

А Груня все смотрела и смотрела, а соратники недоуменно теперь смотрели на нее – чего так таращится на Глубь-трясину, уж не начинается ли опять припадок галлюцинации у переутомившегося комиссара?

Тело владыки Алексия перенесли в монастырь и как есть положили в гроб и поставили в храме. И сразу после этого старец сказал Загряжскому и Безобразову:

— Теперь собирайтесь и — счастливый путь. Прорветесь.

— Батюшка, а что нас ждет дальше, а? — спросил вдруг Безобразов таинственным голосом.

Положил ему старец руку на плечо и ответил:

— Не дано, воин, нам, грешным, знать времена и сроки. И слава Богу. Одно точно знаю, да и ты знаешь, всех нас ждет или Царство Небесное или ад. Вот и все, что скажу тебе. Езжайте с Богом и Олюшу нашу везите.

— По коням, Безобразов, — сказал князь, хлопая друга по плечу.

Тяжко было прощание с Олей-маленькой. Не только у Оли-большой, но и у полковника, и у поэта, и у Дронова на глазах были слезы. И они не вытирали их.

— Ну вот, Оля-маленькая, а ты говорила, не подрастешь... — сказал поручик и запнулся, отвернулся. — Ты не забывай там нас...

Оля-маленькая просто плакала, ничего не говоря, утыкаясь каждому в грудь.

Дронов подошел к Загряжскому:

— Я было тоже собрался с вами, Иван Григорьевич, но — нет, — Дронов шумно вдохнул и выдохнул, — здесь останусь. А вы... бейте их, и коли с братцем моим пути сойдутся, свинцовый привет от меня.

Загряжский молча кивнул.

Когда оба всадника выехали из ворот, все опять были на стене. И стояли так, пока они не скрылись в лесу, через который еще так недавно и так вроде бы давно мчался, уворачиваясь от пуль, Дронов. Послышалась частая пальба, затем стихло.

— Прорвались? — с этим молчаливым вопросом лица всех обратились к старцу.

— На все Божья воля, — тихо проговорил он и пошел вниз со стены. И все опять разбрелись кто куда, каждый со своими думами. Дронов и Оля-большая шли медленно рядом по направлению к фонтанчику.

— А вы знаете, какой завтра день? — спросила Оля-большая.

— Девятнадцатое, по-моему.

— Да, девятнадцатое. А праздник какой?

— Не знаю я, Оля-большая. Вообще-то вы теперь просто Оля, Оля-единственная. Как-то там наша маленькая?

— Думаю, прорвались, у меня отчего-то спокойно на душе.

– А у меня отчего-то нет. А какой праздник?

– День преподобного Серафима Саровского.

– А это кто?

– Как?! Святой наш... ох, Александр Дмитрич. Шестнадцать лет, как канонизирован, в прошлом веке жил. Чудотворец.

– А... чудотворец, припоминаю. Ничего я не знаю, Оля-единственная, тошно мне отчего-то, может, лучше с князем было ехать? Ничего я теперь не знаю. Увезли маленьку нашу и будто что оборвалось во мне.

– Всенощная сегодня, вот уж скоро совсем. Приходите обязательно. Да?

– Приду, – уныло сказал Дронов. – А это что за фонтанчик? Святой?

– А вы действительно не в себе. А что здесь не святое? Это вода Глубь-трясины, что вниз ушла. Гляньте-ка, Анатолий Федорыч собственной персоной. Вышли из затвора?

– Племянницу вашу провожал. – Лицо Анатolia Федорыча было серьезным и каким-то тоскливо-задумчивым.

– Вам тоже плохо? – спросила его Оля-большая.

– Почему тоже? Кому еще?

– Мне, – сказал поручик. – А вам-то с чего? Все ж прекрасно. Вы ж все замечательно объясняете, а что не объясняете и объяснять не надо. Чего чаек не пьете с конфетками, которые лучше столичных? Вот, кстати, и союзничек ваш. О чем думаете, профессор? Чего со стены слезли?

– Александр Дмитрич, – укоризненно сказала Оля-большая и взяла его под руку, – ну вы-то хоть не будьте...

– Пусть его, Ольга Пална, – сказал подошедший профессор. – Человек обживается, Иван Иларионыч давно подкрепления ждет. А думаю я все об одном и том же, если вам интересно, – о феномене невидимки.

– Ну и как? – опять подал голос Дронов. – Продвинулись? Иль все еще на стадии дикаря?

– А хотите продвинуться? – спросил вдруг профессора Анатолий Федорыч. Вполне серьезно спросил.

– Хочу, – настороженно ответил тот.

– Идите сегодня на всенощную. Со мной. Там лик Христа есть. Самим старцем писанный. Справа от царских врат в главном пределе. Бухнитесь-ка на колени да лбом об пол, чтоб звон пошел, да крикните: верую, Господи, помоги моему неверию!

Дронов и Оля-большая удивленно воззрились на синодала. А профессор спросил спокойно:

– А вы что, собираетесь бухнуться?

– Не знаю.

– Ну так и бухайтесь, а я лучше в дикарях останусь, – сказал профессор пошел прочь.

– Вы все это серьезно говорили, Анатолий Федорыч? – спросила Оля-большая.

– Не знаю. Я вот еще о чем думаю: откуда и почему у нас, русаков, мировая скорбь по поводу происходящего? Когда турки пятьсот лет назад на стены Константинополя лезли, думаю, константинопольцы также думали – ах, конец миру, последний Рим падает, тысячелетняя империя гибнет! Ну и гибнет, знать, время ее подошло. Вот и нашей империи – время. Тысячу летостояли, ну и хватит. Почему носителям Православия видится конец мира, когда приходит конец их империям? И ведь во мне эта скорбь есть, черт бы ее драл, а не носитель ведь я Православия, хоть и командир его был.

– Опять вас понесло, Анатолий Федорыч, – вздохнула Оля-большая.

– Да никуда меня не понесло, Ольга Пална, тошно мне отчего-то. Что ли, на трапезу сходить, Ларионыча подразнить? Да нет, ну его, по морде еще получишь.

– Пойдемте-ка лучше ко всемощной.

Он и вправду явился на всемощную. Принес с собой складной стул, поставил его у самой дальней от алтаря колонны, сел и замер так, глядя в пол.

Дронов не видел его, он стоял у алтаря рядом с Олей-большой, как раз напротив писанной старцем иконы Христа. Оля-большая отрешенно глядела куда-то, не то в себя, не то куда-то в неведомое. Дронов несколько раз косил на нее взглядом и тяжело вздохнул, завидуя: ни «я» его, ни неведомое не просматривались, и лик, дивно писанный, не вдохновлял. Минут через пятнадцать после начала он уже устал. Он жалел уже, что не поехал с князем, жалел себя, что так вот жизнь вся сложилась, одна война проклятая и ни продыха, ни просвета, любви за всю жизнь так и не было, не успел, не нашел, да и не искал, да и где ее на войне найдешь, что вообще на войне найдешь кроме потерь, – вот чего в избытке было, так это потерь, да еще брат во врагах... При мысли о брате отчего-то прояснился вдруг лик Спасителя и пение стало ближе, слышимее, оттеснило тосклиевые мысли о потерях.

»Что брат? Ну что тебе брат?! Да сгори оно все ясным огнем, что там... за стеной!..

...Буди, Господи, воля Твоя на нас...

А ведь здорово поют, душевно.

...Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим... Научи оправданием... это как же?»

Вновь навалилось: «Эх, родиться бы лет пятьдесят назад, уже все прожил бы, не жалко, когда под конец жизни такое... Не жалко? Всегда – жалко. А может, спасемся, может, вынесет как-нибудь... После бегства из Новоспасского подвала все как-то... и вроде столько всего было, а и вспомнить нечего, ничего неохота вспоминать, да и пусть себе, не для того ведь живем, чтобы вспоминать. А для чего? Как просто все у старца – для Царства Небесного и все тут... Внутри нас есть... Где? – Дронов провел себя по животу и сам же ухмыльнулся дурацкому жесту, едва не прыснул, скулы расперло, ну прямо сейчас хохот вырвется, – вот, Господи, наваждение... Спаси и помилуй...

Вот он, покров Божий, вот я в нем, увидеть можно, пощупать, на зуб попробовать. Где ж она, радость?»

Вспомнилось вдруг нахлынувшее недавно и улетевшее. «Да нет... разве можно это вспомнить, разве вспомнишь ощущение? Эх, верни это. Господи, ничего больше не надо... Вот он, покров Божий... От главного не спасает – от воли своей, от «я» своего, по животу себя глядящего... Да будет воля Твоя, Господи! Уйми мою волю, будь она проклята, не хозяин я ей, раб подневольный...»

»Я бить их хочу...» – неужто это его голос, нежный голос Сашеньки Дурдоныча (так мальчишки звали), у Чистых прудов уток кормящего?.. Да, это его голос. Продрался, прополз, проскрывался, проуникался, два раза хоронил себя мысленно, один раз расстреливали... добрался – Ростов, свой город, будто только офицеры его жители... »Я бить их хочу...» Напротив в кресле штабист холеный, капитан с папиросиной:

– Э-э, надеюсь, вы республиканец, прошу извинения за неделикатность?

»Что? О чем он? Я бить их хочу!»

– Не понимаете? Какой присяге считаете себя верным, надеюсь, Временному правительству? Монархические убеждения, простите уж, коли имеете, лучше молчать... Добровольческая армия защищает растоптанную республику.

»О чем он?! – грохнул по столу. – Я бить их хочу!»

Капитан с подрагивающей папиросинкой поморщился:

– Будете, будете бить. В двенадцатый полк. Однако послушайтесь, не высказывайте вслух монархических мыслей. Тут вот полному георгиевскому кавалеру отлуп дали – князь Загряжский. Не слыхали?

Не слыхал Дронов и монархистом не был, однако в голове зазвенело слегка: «А! – монархисты, республиканцы, кой черт! – я бить их хочу!..»

И вдруг Дронов ощутил, что никого он сейчас, у лика этого стоя, бить не хочет. Тонет, вязнет тот его голос... Да будет воля Твоя...

Помазываться он шел за Взвоевым. И уже в двух шагах от старца со Взвоевым истерика сделалась. И, видимо, не в первый раз. Обожженный и полковник спокойно подняли его, бьющегося и рыдающего, и поднесли к старцу. Тот помазал его лоб елеем, и затих вроде Взвоеv. Отнесли его на лавочку, и там он сидел скрючившись и тихо плакал. И тут Дронов увидел смотревшего из-за колонны Анатолия Федорыча. Страшны были остекленевые, остановившиеся его глаза, смотревшие на плачущего Взвоеvа. Что-то невероятное, немыслимое для себя видел Анатолий Федорыч в тихо плачущем комиссаре Взвоеvе, рота которого славно погуляла в свое время и набила доверху трупами Успенский храм Митрофаньевского монастыря.

Почему-то шатало Дронова, когда выходил он на улицу. Безоблачное, черное, тихое, звездное небо куполом накрывало монастырь. Все выходящие задирали головы вверх, любовались. Фонарями яркими блестали звезды, но черноты небесной бездонной не заслоняли. Зримо чувствовалась бесконечность этой черной бездны и ничтожность, песчиночность твоего маленького «я», пузырька твоей жизни, и одновременно также зримо и отчетливо виделась единственность, уникальность твоего могучего, единственного «я», Творцом всей этой бесконечности охраняемого. И хоть десять штурмов, ничто не страшно, Господи, если Царство Твое во мне есть, не дай выпасть из руки Твоей!..

Часть вторая

ЖЕЛЖЕНА-АГРАФЕНА

Если в двух словах, чтоб значительно, емко и красиво, то всю историю Груниного преображения можно было бы описать так: революция ворвалась в душу Груни нежданно-негаданно, подобно цунами. Она опустошила и смела все, что там было, все, что безмятежно жило потихоньку, – все было раздавлено и сметено. Только в отличие от цунами, волна эта не отхлынула назад, а осталась там и, заполнив собой все, породила новую, невиданную жизнь, вирус которой и по сей день гуляет по миру, крепнет с каждым днем, и никто не может найти от него лекарства.

Но если ограничиваться только этим, это значит, как говорил в запальчивости поэт Константин, говорить общие слова. Если же общие слова раскрыть, то получается вот что.

В Москву к Загряжским Груня прибыла за пять лет до революции, семнадцатилетней застенчивой девушкой. Прибыла из подмосковной деревни по

солидной рекомендации управляющего имением Загряжских, которое было недалеко от села, где жила Груня с родителями. Сама Груня настояла перед своей матерью, чтобы уехать. Поупиралась мать – жениха ведь уже подобрала, но уступить пришлось, не хотела Груня замуж, она хотела в Москву. Причину же такого желания мать никак не могла понять.

– Ну, понятно б, учиться хотела, – говорила она Груне, – не бабье дело, да уж куда ни шло, нынче и бабы на учебу лезут, время, знать, такое подошло. Была б вроде учительши нашей. Ну или б жених в городе был, а? А чего в горничных хорошего, этого я никак в толк не возьму! Оно, конечно, у их сиятельств очень даже неплохо, дом известный, да неужто хозяйкой не лучше? Васька малый справный, хозяйственный, домовитый, незлой, пьет в меру, дом – полная чаша, а? Такие женихи на дороге не валяются! И ведь люба ты ему!

Не видела мать, что Груня совсем не слушала ее слов, а только вздыхала устало, ожидая, когда же та нудить кончит. В конце концов мать проворчала, что «рано тебе волю дали», и отпустила. Отец же вовсе не противился Груниной воле, он давно во всем слушался жену и от всего только отмахивался, говоря, что как мать скажет, так и будет. Видно, в мать и пошла Груня упорчивостью. Она, правда, и сама точно не сказала бы, отчего ее так тянуло в древнюю столицу. Мысль об учебе, чтоб быть «как учительша», весьма пугала ее. Ей казалось, что она не сможет быть такой решительной и самостоятельной, как их учительша, да она и не чувствовала в себе никакого влечения к такой жизни. Она знала, что рано или поздно выйдет замуж и будет жить под крыльшком мужа, рожая и воспитывая детей, но отодвигала это пока на неопределенное «потом». Ей просто хотелось посмотреть, как живут высокого ранга люди, был у нее отчего-то жгучий интерес к их жизни, о которой она прочла пару романов. И где, как не в Москве, до которой езды всего ничего по «железке», увидать вблизи эту жизнь. Да и услужить людям она любила, хотя учительша их сельская как-то в беседе очень ее пожурила за такую любовь и убеждала ее ехать все-таки учиться, а не в горничные. «Лакейская психология – главная беда нашего народа», – поучала она. Этого Груня понять не могла. Кто-то должен командовать, кто-то книжки писать, кто-то хлеб растить, ну а кто-то и прислуживать – на этом мир издревле стоял. И такой порядок вещей Груня считала вполне естественным и никакой беды в том, что человек – лакей, не видела. И слово «лакей» совсем не было оскорбительным для нее, то есть обо всем этом она никогда не задумывалась, просто эти понятия органически в ней присутствовали и были естественной и неотъемлемой частью ее «мировосприятия», как сказала бы их учительша.

Жизнь у Загряжских складывалась для нее спокойно, относились к ней ровно и добро, хотя и несколько сдержанно. Зато постоянный гость дома, Андрей Ананьевич Агарков, часто подшучивал над ней с доброй ухмылкой и даже заводил

с ней разговоры на всякие отвлеченные темы. Он вообще любил и мог говорить обо всем на свете, тема разговора возникала у него буквально из ничего, при этом ничему на свете он не придавал никакого значения, так, по крайней мере, казалось.

— Груня, а у вас, между прочим, классический античный профиль, — сказал он как-то вошедшей в гостиную Груне. Он сидел в своем кресле (так его все и звали — агарковское), в своей всегдашней расслабленности, нога на ногу и с папиросой в зубах. — Такого носика, а-ля Венера, я давно не видел ни на одном лице из тех, кто принадлежит к нашему вырождающемуся боярству. Не краснайте, Груня, я не комплементирую вам... а! только сейчас взял и придумал: ком-пле-ментирую, а!.. я правду говорю, Груня, ейБогу. А ты, Григорий, что морщишься? Тысячу раз повторю: да, мы вырождаемся. И твой доблестный сынок-исключение только подтверждает это печальное правило. Впрочем, Ванюша наш породой, конечно, вышел, но — однобок! Одкобо-ок! Я бы даже сказал, диковат. И твоя кровь, Марьушка, кровь Шереметевых, ничуть не умягчила его.

Марья Антоновна только рукой отмахнулась и сказала:

— Меня пуще всего религиозность его беспокоит, ну прямо-таки пещерная какая-то, ну прямо чернец, а не офицер, удивительно! Я не представляю его в компании офицеров. Григорий, есть у них офицерский клуб?

— Публичный дом, что ли?

— Да ну тебя совсем!

— Да я думаю, в этом клубе он не бывает.

Груня внимательно вслушивалась во все, что говорилось в доме Загряжских, для нее все темы были многозначащими, хотя многое она и не понимала, но все равно прислушивалась всегда, когда выпадала такая возможность. Любила и просто наблюдать, как течет жизнь этого большого дома, как старая княгиня вяжет, или читает, или вздыхает, как старый князь беседует, или спит в кресле, или с бумагами в гостиной сидит — он любил сидеть и работать в гостиной, а не в кабинете, как он говорил — люблю, когда жена мешает. И Груня, вглядываясь и вслушиваясь в жизнь дома, в котором жила, видела, конечно, что молодой князь действительно исключение, но отношение у нее к нему было какое-то странное, ей самой непонятное. Она совершенно не могла переносить его взгляда, хотя глядел он совсем нестрашно, но едва только взгляд его касался ее, она сразу смущалась и отворачивалась. И смущение какое-то странное было, не мотивированное ничем. Оттого немного не по себе ей было, когда молодой князь бывал дома. Правда, он словно чувствовал ее тревожную напряженность и никогда не прибегал к ее услугам, а будучи среди домашних, не замечал ее, когда она входила. Да и редко в последнее время бывал он дома, с начала войны всего четыре раза. Когда ее подружка, горничная Апраксиных, со смехом рассказывая ей, как ее молодой

барин пристает к ней, чему она совершенно не противилась, спросила: «Ну а твой как?», подмигнув при этом, Груня даже не поняла сначала, а потом рассмеялась: «Да ты что, это не в его характере». «Как так? – не поняла подруга. – И даже не ушипнул ни разу?» И она никак не могла поверить в то что Груня даже и представить себе не могла молодого князя в роли волокиты. К тому времени у Груни уже был жених – Федя, молодой приказчик у купца и подрядчика Телятникова. Он души в ней не чаял и яростно копил каждую копейку для будущей жизни, отказывая себе во всем. И вдруг однажды явился к невесте радостный и счастливый, едва не прыгая от распиравших его чувств:

– Грунюшка! Пантелеи Егорыч сказали, что скоро на покой уходят и на меня – слышишь, на меня! – все дело оставляют! Сама знаешь, деток-то им не дал Господь, вдовствуют... «Ты, – говорит, – после представления моего будешь полным хозяином». Вот такие новости! Грушенька, а как-то ты вроде и не рада, Грушенька?

– Да рада я, – буркнула Груня, почему-то даже раздраженным вышло у нее это бурканье. – Рада я, – сказала она затем более приветливо, для чего понадобилось над собой усилие сделать. Усилие и Федя заметил и слегка удивленно глянул на невесту. Зазвонил звонок и Груня пошла через большую переднюю в гостиную. И тут вышел из гостиной Андрей Ананьевич.

– О, Феденька, мое почтение, дружок. Слыхал, скоро воротилой станешь. Скоро, Грунюшка, у тебя у самой горничная будет. Да, все скоро местами поменяемся. Вот потрачу все на Шаляпина, к тебе в приказчики подамся, возьмешь? Авось, на приказчицем месте все свои денежки и верну, а? – Андрей Ананьевич хитро подмигнул Феде.

– Очень даже понятен ваш намек, однако обидно-с. Никогда людей не обманывал. И Пантелеи Егорыч дело всегда по-честному, по справедливости вели-с и меня тому учили и учат. Оттого и Господь вспоможествует торговле его и всем делам.

– Как? Вспм... вспож... естьует? Ха-ха-ха, блестяще! А... а от службы военной, чай, не Господь отвел а? Пришлось, поди, благодетелю кое-где раскошелиться? Да ты не смущайся, в России пока есть кому воевать, а то если всем на войну, кому ж тогда кожей торговать? Ха-ха-ха...

– А я и не таюсь ни в чем, ваше превосходительство, да, не вояка я, боюсь я всякой драки. Вот так уж. Намедни в слободке нашей подрались двое дублем, так от одного гляденья едва не душа вон. Как заору им: «Православные! Что ж вы делаете?!» А они дружка дружку тут перестали дубасить да на меня с дублем-то! Вот где натерпелся-то, сущий ад! Так бежал, что лошадь обогнал. Да и в человека, на войне-то, я б никогда не выстрелил.

– Ну, уж это, брат, сектантство.

— Нет, не выстрелил бы, как же это... в живого-то! Винтовку я б, конечно, взял, коли б приказ такой, а стрелять бы не стал. Лучше умереть, чем убивать.

— Однако ты, брат, философ.

— Да ну вас, ваше превосходительство, скажете... — Федя махнул рукой. — Пойду я, Груняш, ты на всеоощную пойдешь?

— Нет, — ответила Груня, — устала я. Завтра приходи.

Она и сама была немало удивлена тому, как равнодушно она встретила сообщение Феди, что он будет наследником Телятникова. Вроде вот и явились сами собой тот достаток и спокойная жизнь с любящим мужем, о чём какая девушка не мечтает, но вот — нету радости и все тут. Свадьбу они надумали сыграть на Красную горку. Федя — тот только и жил предстоящим событием, а на Груню вдруг напало нечто вроде оцепенения. Она ходила точно сонная, вся какая-то заторможенная.

— Что с тобой, Груньюшка? — участливо и боязливо спрашивал Федя.

— Ничего, Федечка, — отвечала Груня и улыбалась. — Может, это девичество мое со мной прощается?

И вот, когда вдруг старый князь явился домой с красным бантом и заявил громко: «Все, господа! Монархия исчерпала себя, мы победили!», оцепенение ее прошло. Ни одной даже минуты за всю свою жизнь не думала она, что в России есть монархия, что есть те кто не хочет ее, что есть какая-то общественная жизнь, политика с их стремнинами, затонами, омутами, все это было так далеко от нее. Она знала, что есть царь, что он — помазанник Божий, что ему повиноваться так же естественно и необходимо, как дышать, есть, умываться, ходить по воскресеньям к обедне. Слова старого князя сначала поразили ее так, как если бы в феврале над ней гром грозовой ударил. Да он и ударил! Груня даже перекрестилась испуганно. А старый князь вслед за этим еще и крикнул в голос:

— Да! Грода в феврале очистительная над Россией! А ты что, дурочка, крешишься? — хохоча сказал он Груне. — Свобода пришла, всем свобода, понимаешь?!

Этого она не понимала. Та свобода, которая лично у нее была, ее вполне устраивала. К тому же она была сыта, одета, во всех лавках давали в долг. Тот маленький мир, в котором она жила, был уютен, добр к ней и устойчив и должен был вскоре стать еще уютнее, добре и устойчивее. А что же им-то надо, господам? Царя нету! Да как же это? Груня покачала головой и еще раз перекрестилась. Затем она смело вошла в залу вслед за вбежавшим туда старым князем с бантом, хотя никто ее не звал. Она встала у двери и стала слушать. Старый князь с восторгом, с упоением, со страстными нотками в голосе рассказывал жене, зятю, Агаркову, как

они, заседая в Городской думе, не подчинились приказу правительства самораспуститься и предложили в ответ самораспуститься правительству, как они обратились к народу, как они решили стоять до конца, как гарнизон выразил свое единодушие с ними – избранниками народа.

»Но зачем все это? Разве плохо было?» – думала Груня. Задумчиво стоявшую, ее увидел Агарков и, лукаво прищурясь, сказал:

– А вот Груня спрашивает, зачем все это, а, Григорий? Ну-ка, ответь народу, зачем?

Старый князь удивленно посмотрел на Груню:

– Свобода, я же сказал уже. Правительство, монархия не способны уже управлять страной, не способны довести войну до победы...

– А вы способны? – спросил Андрей Ананьевич и скептически-усмешливо оглядел старого князя.

– Да, мы способны, – воскликнул тот и встал руки в боки. – Нам только мешать не надо. А то самозванцы уже объявились! Тушинские воры в этой стране никогда не переводились.

– Да-а, в этой стране чего только не водится. Это что ж за тушинские воры, Григорий?

– Некий совдеп, а проще говоря, пьяная солдатня с винтовками, которой руководят безответственные темные личности.

– Все ясно, – ухмыляясь сказал Андрей Ананьевич. – Теперь вы будете грызться с этим совдепом и спихивать друг на друга наши неудачи на фронте, которые, естественно, будут – у семи нянек дитя всегда без глазу, – Андрей Ананьевич деланно громко зевнул. – Да ты не сверкай на меня глазами, Григорий, я ж за вас, я тоже, если хочешь, возмущен. Впрочем, вот это вру, ничем я не возмущаюсь. Иногда я даже хочу возмутиться чем-нибудь, да у меня ничего не получается. Наверное, я возмущусь, если меня лишат возможности слушать Шаляпина. Но я думаю, сие мое желание не встает на пути ни новой власти, ни грядущей? Ушедшая власть ничего против этого не имела.

– Никакой грядущей власти не будет! Грядущее совершилось. Сегодня Россия нашла себя! – сказав так, старый князь торжественно высморкался.

– Что-то еще наш доблестный воин насчет этого скажет, – проговорил с задумчивостью во взгляде и в голосе Андрей Ананьевич.

– А это совершенно все равно, что он скажет, – важно ответил старый князь.
– Теперь его слова не имеют никакого значения. Дело совершено окончательно и бесповоротно, а пещерный монархизм его, я думаю, сам собой на нет сойдет.

Дальше Груня не слушала, она вышла из залы, накинула шубу и через минуту была на улице. Будто некая сила выбросила ее из дома, она не думала, что может оказаться нужной своим хозяевам, что ее могут позвать; все вдруг потеряло значение, забылось, словно встречный февральский ветер-воздух обволок, оградил ее от всего этого. Она шла по московским улицам, завороженная творящимся на них. А творилось на них неслыханное и невиданное доселе. Прямо напротив дома Загряжских какой-то прыщавый студент, зачем-то обвшанный пустыми пулеметными лентами, тряс винтовкой в вытянутой руке и что есть мочи вопил «ура!». И идущие мимо совсем этому не удивлялись, те же из них, кто попадали под радостно-сиреневый взгляд студента, сами выкрикивали «ура!» и взмахивали руками, выкрикивали и взмахивали совершенно искренне, возбужденные тою же силой, что крутила студентом. Ни в какую Пасху Груня не видела таких громадных толп народа. Тот новый, Дурманящий воздух, что объявился вдруг над Москвой, выдувал всех из домов и квартир и гнал на улицу. о себе Груня тоже почувствовала нечто новое, суть которого она не могла понять, оно не охватывалось разумом, оно вошло вдруг в сознание и осталось там. А в присутствии этого непонятного нового в душе и дышалось как-то совсем по-другому. Каждый вдох не просто наполнял плоть живительным воздухом, но воздух этот действовал на глаза, на уши. Он заставлял по-новому взглянуть на окружающий мир, увидеть в нем то, что раньше не давала видеть душевная броня-заскорузлость, которую он, этот новый, разъедающий воздух, растворял, высасывал из людей и выгонял их самих из домов и квартир на улицы. Она даже голову задрала кверху, к серо-голубому небу, будто ожидая увидеть падение на людей того нового, невиданного, что заставляет их шастать по Москве, кричать «ура» и размахивать руками. Или туда, в пугающую высь, унеслось то, что рождало и держало-крепило в душе броню-заскорузлость? А то новое, что стала ощущать Груня, выйдя на улицу, есть ранее придушенный источник жизни, который вот теперь начал жить. Что за источник? Какой жизни? Все напряглось в Груне. Она очень серьезно воспринимала то, что видела на улицах, она впитывала происходящее, глядя на все широко раскрытыми глазами, и даже рот ее сам собою временами широко открывался. Многое, что еще вчера рассмешило бы ее, совсем не казалось смешным, и то, что никогда ранее не вызвало бы не то что смех, но даже и улыбку, теперь виделось в каком-то карикатурном виде и заставляло смеяться. Она едва сдержала смех, когда увидела на паперти Воздвиженского храма одинокую, показавшуюся ей жалкой, фигурку священника, и не кого-нибудь, а отца Клавдия, ее и Федина духовника. Над духовником смеяться! – да мыслимо ли это было еще час назад? Он застывшим, отсутствующим взглядом смотрел на снующих мимо людей, и на лице его, сменяя друг друга, появлялась то страдальческая гримаса, то детская обида-удивление. И он, похоже, не замечал этой игры своего лица, он весь ссупулился и согнулся, а руки его казались нелепым, лишним довеском к телу. Смотревшей на него Груни

он не видел. Уходя от него, она несколько раз обернулась, пока не завернула за угол. За углом погромыхивал мотором стоявший на месте грузовик, похожий на огромного ежа, ибо его совсем закрывали торчащие во все стороны штыки винтовок: без малого человек пятьдесят солдат с красными бантами на шинелях осадили его, оседлали и позировали перед нацеленным на них фотоаппаратом на треноге, около которого хлопотал пожилой горбоносый фотограф в шляпе, подававший команды солдатам. Те принимали нелепые, несуразные позы. А уж что они делали со своими лицами! Им почему-то казалось, что чем больше злости и высокомерия будет на их лицах, тем лучше. Глядя на их уморительную мимику и позы, стоявший рядом с Груней господин в котиковом пальто и ботах рассмеялся. Груне очень не понравился его смех, ей солдаты вовсе не казались смешными, она вполне понимала их желание выглядеть на фотографии красивее и представительнее, чем они есть на самом деле. И не только оттого, что засмеялся сей господин, вспыхнула на него у Груни злость, что-то гораздо более серьезное подбросило головешек в эту вспышку. Груня и сама не могла объяснить это «что-то», но возгоревшемуся вдруг чувству противиться не стала. Она раньше никогда не вглядывалась в лица людей, но вот теперь с жадным любопытством рассматривала их и все вокруг происходящее.

А Москва бесновалась. Из роскошного подъезда вывалилась ватага орущей песни солдатни и поперла по улице, призывая всех присоединяться. Груня долго смотрела им вслед. Вот мимо строевым шагом, во главе с молоденьким прапорщиком промаршировала другая группа солдат – все с громадными красными бантами на шинелях. Толпа москвичей приветствовала их с таким исступленным восторгом, будто никогда не видела солдат, идущих строем. В Столовом переулке на главном подъезде высокого одноэтажного особняка она увидела писанную на картоне красной краской надпись «Совет рабочих и солдатских депутатов». Картон был прибит к неподвижной створке дубовой резной двери. Вторая створка постоянно распахивалась и через нее вваливалось и вываливалось множество людей, главным образом солдат. Она и не предполагала, что их столько в Москве. Около подъезда стоял, опершись на винтовку, небритый солдат лет тридцати, по-видимому – часовой. Входящие что-то объясняли ему, но он слушал вполуха и вяло кивал головой в ответ. Не понравился солдат Груне. Во всем облике его – и в фигуре, -и в чертах лица – было что-то нерешительное, задумчивое; временами даже что-то затравленное мелькало в его серых, невыразительных, опущенных глазах. Будто он и сам не знал, хорошо или плохо то, что он здесь стоит, что вот работает этот «совдеп» непонятно для чего, что Москва вывалилась на улицу и орет «ура», что царя больше нет... Это был человек еще не решившийся, а непредсказуемость поведения человека еще не решившегося есть самая большая опасность для революции: куда его еще повернет, такого задумчивого? И это сразу понял тот новый источник жизни, что так внезапно ожил в Груне. Впоследствии

Груня сразу, одним взглядом, чутьем могучим, определяла человека нерешившегося, и если она тем взглядом своим не загоняла его в решившиеся, тому нечего было ждать пощады; и сейчас фигура перед дубовой дверью угрюмого, опирающегося на.. винтовку нерешившегося символом отпечаталась в пробуждающемся ее сознании. Нечего делать человеку на земле, раз он не решился без оглядки служить всесокрушающему классу, не встал под флаг всесокрушающей партии. Но все это придет к ней потом.

– Что тебе, девка? Проходи, неча здесь стоять, здесь совдеп, – сказал солдат Груне равнодушным тоном. – А вот я и хочу посмотреть, что это такое, – буркнула Груня и вошла в подъезд, даже не успев удивиться своей напористости. Вошла и вот тут растерялась, не зная, что же дальше делать. В большой зале накурено, насорено и наплевано было сверх всякой меры, отчего она еще больше растерялась. Из пупка мраморного Геракла торчала вдавленная папиросина, все стены с лепной штукатуркой постигла та же участь. Толпящиеся тут солдаты и разномастные штатские сразу заметили Груню, она тут была единственной женщиной. Груня совсем стушевалась и ринулась в первую попавшуюся ей на глаза дверь. И оказалась в обширной комнате, половину которой занимал огромный ореховый стол, за которым сидел и писал молодой человек в артиллерийской кожанке. В комнате еще находилось человек пять куривших солдат, один из которых, увидев влетевшую Груню, воскликнул:

– Ба! Барышня, ха-ха-ха, беру тебя в наши батальонные! Записывай, Рогов, как и задумано, – кто первый войдет, тот и батальонный, ха-ха-ха!

– Хватит зубоскалить! – оборвал смех тот, кого назвали Роговым. Без вас вон как человека напугали. Проходите, проходите, гражданка, не тушуйтесь... Давай, давай, оглоеды, шагайте, дайте поговорить с человеком.

Груня не слыхала, как уходили, ухмыляясь и бросая сальные реплики, солдаты, она целиком была поглощена взглядом Рогова, которого она про себя Уже окрестила бревногубым. Толстенные губы его огромного рта были, действительно, словно два бревна. Глаза смотрели властно и притягивающе.

– Садитесь, садитесь и успокойтесь. И не дрожите, никто вам плохого здесь не сделает.

– Да я не дрожу. Так, зашла... и сама не знаю чего. Пойду я... – ее и в самом деле тряслось отчего-то мелкой-мелкой дрожью. Бревногубый усадил ее на место и, встав совсем близко, сказал:

– Нет, дорогая гражданка, не просто вы зашли, не просто, – бревна-губы улыбались, а глаза испытующе смотрели прямо в Грунины зрачки и точно шарили внутри, искали чего-то. – Вы дочь революции!

Вздрогнула Груня от этих слов, прозвучавших так проникновенно-таинственно, отпрянула было назад. На мгновение ее охватил жуткий, непонятный страх, но она также мгновенно придавила его в себе, рот ее приоткрылся, лицо обрело крайнюю сосредоточенность и серьезность, она вся подалась навстречу завораживающим глазам бревногубого, хотя остатки боязливого недоумения нет-нет да и прорывались сквозь серьезность.

– Да, это вас сама революция привела, ее переломный, уничтожительный дух! – бревногубый поднял перед собой сжатый до побеления пальцев кулак и глянул на него, будто это была бомба, которой он сейчас взорвет весь мир. – Это он, этот великий дух, командовал вашими ногами, а вы-и не думали об этом! О, сколько у нас дел впереди! Эти бобрастые и их рабы и прихвостни думают, что все кончилось, но все только начинается! (Груне сразу вспомнился старый князь.) Мы не просто образ правления меняем – к черту ихнюю республику, как к черту и самодержавие, которое уже там! Полное обновление! Полное уничтожение вековых мерзких устоев и всех – всех! – кто за них цепляется! Только так мы совершим бросок в царство абсолютной справедливости!.. Всеобщего равенства!.. Мирового революционного пожара! И только мы, наша власть, способны это сделать! И право на эту власть мы взяли сами, а все бобрастые, что ныне бантами щеголяют, – все сгинут, как этот вон снег! – бревногубый Рогов выбросил указующий перст в сторону окна. – Или мы, или они! Нет, только мы!..

И тут Груня осознала, что ей понятно и интересно все, что говорил бревногубый, хотя еще совсем недавно ничего этого для нее не существовало. Она вдруг почти физически почувствовала в себе биение того нового, о котором говорил Рогов. Оно рвалось заполнить собой всю ее душу, но что-то не пускало его. Это «что-то», заставившее поначалу отпрянуть от вдохновлявших слов бревногубого Рогова, были домостроевские жизненные уложения, впитанные ею с молоком матери и развитые окружающей жизнью. На них опираясь, она принимала все жизненные решения. Но вот, оказывается, эти определяющие уложения не были ею самой – Груней, не были ее «я». Оно, принимающее решение ее «я», жило, оказывается, совсем отдельно от этих уложений, сквозь которые начал вдруг прорываться голос нового, и этот голос был услышан Груниным «я».

– И главным новым в этом новом мире, – продолжал бревногубый, – будет новая женщина! Освобожденная от домостроевских пут, раскрепощенная, стр-рашная для старого, гибнущего мира!.. Но пока он не гибнет! Он нацепил бант и кричит «ура», он рад свалившейся на него свободе, но он лишится ее, он сгинет и сдохнет! Но кроме нас этого никто не сделает! Да!..

Груня понимала одно: что за этим «надо» стоит неслыханный, необъятный, жуткий перелом – ее вдруг опять дрожь начала колотить. Но рвущийся изпод гнета новый источник жизни даже вопроса не ставил – зачем это надо, он принимал это

радостно, он жаждал действия, он уже чувствовал в себе силы Для овладения Груниным «я», которое с безмолвной сосредоточенностью внимало бревногубому Рогову...

– И из работницы вы станете властелином! Вы ведь работница?

– Горничная я. У Загряжских, знаете?

– Ну-ну, как же не знать, наследник дома во всех газетах прогремел, полный кавалер и герой, папаша – думский деятель, знаю я эту семейку. Как думаете, возможен переход князя-поручика на нашу сторону?

– Кого? Иван Григорьича, что ль? Да вы что, ой, Господи! Он за царя кому хошь горло перегрызет, да хоть и отцу родному, его сиятельству!

– Но ведь царя больше нет!

– Нет, он за царя всегда воевать будет, пусть хоть и нет его. Я так думаю.

– Что ж, тем хуже для него. Как вам живется там? Да, я даже не спросил, как вас зовут, – расхохотался бревногубый Рогов, и все лицо его стало состоять из одного рта.

– Груня, – сказала Груня и покраснела, потупилась. – Как живу? Хорошо живу, одета, накормлена, три шубы у меня, хозяева ласковые. – Все это она произнесла, почему-то опустив глаза и глядя в пол, будто оправдывалась.

– Поднимите глаза, Груня, поднимите их высоко. И с этой высоты смотрите на мир. Три шубы, хозяева ласковые... Они – хозяева!.. Ласковые!.. Мы хозяева, Груня! Это уясните. – Следующую фразу бревногубый Рогов сказал страшным шепотом, выпучив при этом глаза: – Вы верующая?

– Да, а как же, – шепотом ответила Груня, и глаза ее остекленели, будто в себя она ушла, выдохнув «да». Но в себя она не ушла, просто ее «я», услыхав вопрос, ринулось было за помощью к старому домостроевскому уложению, но на полпути вдруг остановилось. Само остановилось, по своей воле, и застыло в пустоте, ни о чем не думая.

Ладонь бревногубого Рогова легла на плечо Груни.

– Вот, Груня, что вам мешает. И, простите, не верю! Не верю в вашу веру.

– Как?!

– Да так. Не проросло семечко-то, Груня. И это, как говорится, слава Богу, замечательно, ха-ха-ха! – и вдруг он оборвал смех и, указывая пальцем куда-то за спину ей, зашептал низким голосом: – Да, это Он вам мешает, Бог всему виной, Груня.

Груня даже обернулась назад, будто Бог и вправду за ее спиной стоял.

— Да, — серьезно подтвердил бревногубый Рогов, — Он стоит за вашей спиной и держит вас. Рванитесь! Подставьте себя ветру революции, и он унесет вас с этого никчемного поля, где торчат эти проросшие! Мы жатву сделаем, ха-ха-ха, кровавую жатву классовым революционным серпом!

»Классовым революционным серпом»? — Это было совсем непонятно, но звучало красиво, источник же новой жизни, нового видения был вообще в восторге. Еще час просидела Груня с бревногубым Роговым. Он проводил ее до самой двери, пожал на прощанье руку и безапелляционным тоном велел приходить завтра. Груня задумчиво кивнула.

У дубовой двери стоял все тот же угрюмо-задумчивый солдат в той же позе. Проходя мимо, Груня бросила ему:

— Стой как поставили, чего разнюнился-то! — и пошла, не оборачиваясь.

Солдат удивленно глянул вслед Груне, вздохнул — чего на бабу внимание обращать? — и продолжил свои думы.

Одолевали думы и Груню, медленно шла она домой. И ничего теперь не замечала вокруг, целиком погруженная в себя. Бурлило, варилось, булькало неведомое ранее, жгли огневые, чародейские слова бревногубого Рогова. Расхрабрившееся новое, удесятеренно усилившись, орало уже, наседало на Грунино «я» и примеривалось, как бы половчее полностью его оседлать.

»Внемли же, что тебе говорят! — гремело оно во весь голос. — И иди к ним, там настоящая жизнь. Сейчас же ты прозябаешь. Вот оно, настало и полетело время твоё, не упусти его, только с ним ты начнешь жить, и эта жизнь даст такое упоение твоей душе, о котором словами не скажешь. Ты на вершине революционного гребня, который навис над ветхим миром и непременно его сомнет! Ты летишь в революционном вихре, и ощущение полета в его могучих струях не дано описать человеческому языку, это выше всего. Вперед же и никаких сомнений!..»

Никогда не занимавшаяся кропотливой работой мысли, Груня не могла слышать всей четкости призывов разбушевавшегося нового, но силу зова его она чувствовала и суть выкриков его поняла. Она остановилась, и взгляд ее вдруг стал совсем по-иному задумчив, она прислушивалась к тому старому в себе, что вело ее в жизни до сих пор. И едва расслышала все то же, давно знакомое: что она — девица, что предназначение ее Богом определено — хранение домашнего очага и рождение и воспитание детей, что не женское дело ввязываться в кровавую бойню. Богу противную, которую силы зла затеяли и куда ее, Груню, втягивают. Происходит страшное, безумное, богопротивное дело. Не иди против Бога!..

»Да что тебе Бог! – вопил, заглушал бесновавшийся новый плод. – Коли Бог против обновления, дарующего полнокровную жизнь, наслаждение счастьем действия, так отринь этого Бога!..»

Что-то заговорило в ответ старое уложение, возражая этому надсадному крику, но Груня не стала слушать, она тряхнула головой и быстро пошла домой. В своей комнате она, не зажигая света, села на кровать и, сложив руки на коленях, долго просидела так, возврившись в темноту. Затем зажгла свечку, подошла к висевшей отдельно иконе Нерукотворного Спаса (материн подарок) и осветила Его лик. Икона была выписана великолепно: царственный и вместе с тем скорбно-всепонимающий взгляд Христа был одновременно и отрешенным и жгуче-проникновенным. Лишенные страстности, добрые и взыскущие глаза Его как бы говорили-взыывали: «Ну, что же ты, человек, одумайся, есть еще время, Я тебе его дал и Я жду тебя, и вот Мое Царство – твое! И коль пришел ты ко Мне, отложи попечение житейское, взгляни в Мои глаза и подумай о вечности, от которой не уйти тебе, сколько бы ты ни бился рыбой об лед, – и здесь все отобьешь и вечность потеряешь в суете сует. И не упоение ждет тебя, а одно лишь томление духа. Искать сокровище, где одна ржа и воры, – это из блевотины ключи вытаскивать от врат в вечную погибель...»

– Ишь, как грозно смотрит, – прошептала Груня. Она всегда чувствовала благоговейный трепет, когда всматривалась в глаза Спасителя.

»Грозно-то грозно, а хоть даже и плонуть – ничего не будет!« – неожиданно раздалось вдруг из далекой глубины ее сознания. Вздрогнула Груня от такой шальной мысли яростного нового. Но и только. Вот, оказывается, какие мысли могут возникнуть перед святым лицом. Еще утром был немыслим даже отдаленный намек на такое. На лицо глядя, Груня ни мгновения не сомневалась, что Тот, Чьи глаза на нее так парализующе-печально смотрят, есть на самом деле и действительно сейчас смотрит на нее. И вот Он мешает ей, Он бьет ее по рукам, Он не дает ей решиться, не дает отдаваться во власть зовущей стихии. «Он мешает становлению того нового во мне, что сделает меня человеком, а не горничной, – заговорил голос бревногубова Рогова в Груне. – Он сковал по рукам и ногам Своими заповедями, Он хочет, чтобы я погребла себя под головешками семейного очага, чтобы я «убоялась» Феди, чтобы я тихо рожала ему детей, таких же елейно-приторных, как он сам! Чтобы я ждала его, когда он, елейно улыбаясь, заявится домой, отторговав своей кожей или чем там... черт бы это все драл! И чтобы это была моя жизнь, и ни-ни за ее границы? Так вот нет же! Не желаю! Я пойду с ними. Так я хочу...» Груне показалось, что она выиграла поединок взглядов, нечто надменное и презрительное мелькнуло в ее глазах.

Уже потом, в те бравые времена, когда одно имя комиссара Груни наводило ужас на обывателей, вспоминала она иногда с презрительной гримасой о тех

домостроевских евангельских пластиах, что так долго были основанием ее жизни. Точнее, даже не вспоминалось, а так, налетало вдруг на мгновение, ничего кроме ухмылки не вызывая, даже досады, — досада давно уже тогда прошла. Как ничтожны оказались эти пласти, как легко сковырнулись! А ведь это труды стольких поколений ее рода, послушных рабов Божьих. И вот все на ней оборвалось. Она теперь уверена, что и в других эти пласти столь же ничтожны и не имеют никаких корней, и коли видела в ком упорство, не сомневалась, что надо только нажать и все сковырнется, как и у нее. И поскольку никаких сомнений в правильности нового взгляда на мир быть не могло, то любое неприятие его вызывало особую ненависть. И меры такой ненависти обывателю никогда не понять, не прочувствовать. Как к монашеству способны единицы на миллион, так и к такой ненависти. Если вера с горчичное зерно горы двигает, то ненависть такая способна отравить океан. Среди непринявших нового особое место занимал молодой князь Иван Григорьевич. Сама Груня даже и не копалась в себе, не искала, отчего это так. Оседлавшее теперь ее «я», победившее новое только рычало остерьвенело — это враг. Нечто мистическое, необъяснимое) присутствовало в этой ненависти. Да, князь не сделал ей ничего плохого, наоборот — одно хорошее. Но он такой враг того, что она, комиссар Груня, хочет насадить в мире, что равного ему, пожалуй, не найти. Очень много думала Груня о молодом князе, с самого первого дня думала, когда взглядом с иконой единоборствовала. И оказалось, что Иван Григорьевич очень задержался в ее сознании, несмотря на редкое пребывание в доме.

Не сразу до Феди дошло, что его Груня его избегает. Да и не мог он это заметить сразу, ибо целиком был занят своим патроном и благодетелем, Пантелеем Егорычем Телятниковым. Когда же возвращался мыслями к Груне, никак не мог взять в толк, отчего Груня сторониться его стала и вообще как-то резко переменилась, осунулась, взгляд у нее стал какой-то ястребиный, стреляющий, исподлобья. Неужто и она так переживает отречение? Но нет, слишком далека она была от этого. А Пантелея Егорыча ближе, что ль, был? «Эх, времечко!» — только и повторял эту последнюю фразу Федя, тяжело вздыхая. Когда же он узнал, что Груня ходит в страшный совдеп, который Пантелея Егорыч называл вертепом разбойников, он испугался не на шутку.

— Что стряслось с тобой, Грушенька? У меня душа не на месте.

— Ничего не случилось, Феденька, — чужим голосом и не глядя ему в глаза отвечала Груня.

— Ты зачем туда ходишь? Их сиятельство знает?

— Моего работодателя не касается, куда я хожу в свободное от работы время, я свободный человек в свободном государстве. Ясно тебе, приказчик?

— Ой! — Федя едва не сел, где стоял, от таких слов и, главное, от тона, каким они были сказаны. — Как ты... приказчик? Грушенька, да любишь ли ты меня? Ты же невеста мне.

— Погоди, Федя, погоди сейчас с этим, — Груня потерла виски, поправила платок и взгляд ее смягчился.

— Да что ж годить-то, Грушенька, оно хоть и дикое время, да ну и плевать, Красная горка не за горами. Грушенька, меня ведь отец Клавдий просил привести тебя. Что ты так смотришь, Грушенька, он сам по себе велел.

— Велел? — усмехнулась Груня, — Ну что ж, раз велел, пойдем сходим, господин приказчик.

— Да что ж ты меня так называешь, Грушенька?

— Ну а кто ж ты есть, Феденька, ведь ты приказчик? И господин же, не товарищ.

— Что это ты, Груня? Не поймешь тебя, что ты сказать хочешь. Я человек и я люблю тебя.

— Нет, Федя, ты сначала приказчик, а потом уж все остальное. И то, что любишь, — тоже потом.

— Как это? Что «потом», Груньюшка? — совсем встал в тупик Федя.

— Твое приказчичье бытие — вот начало, а «люблю» твое — оно вторично от твоего бытия.

Федя открыл рот и испуганно-оторопело замигал.

— Ну, идем, что ли, к твоему Клавдию, — покровительственно ухмыляясь, сказала Груня.

— К моему?!

На это Груня ничего не ответила, отвернувшись в сторону глаза и двинулась, обойдя его, к храму. Федя зашагал следом, не отрывая потрясенного взгляда от невесты.

Храм был полупустой. Служба уже давно кончилась, последние задержавшиеся прихожане прикладывались к иконам и крестясь выходили. Отец Клавдий увидел вошедших Груню и Федю и неторопливыми, степенным шагом направился к ним. Груня стояла около сводчатой колонны, на которой висела большая икона «Всех скорбящих Радость». Она прицепилась новым своим давящим взглядом к глазам Богородицы и будто не замечала подошедшего отца Клавдия, так и стояла, не шевелясь и не отводя глаз от иконы. Наконец отец Клавдий сам оборотился к образу и сказал.

— Да, дивно выписан лик... Что ж ты не смотришь на меня, Груня, что не здороваешься?

— Дивно выписан... — хрипло отозвалась Груня. Федя ужаснулся ее голосу. — Бессловесные, покорные рабы у ног своей Госпожи. — Разве бессловесные, Груня?

— Да... словесные. «Ты нам помоги, на Тебя надеемся... Твои бо есть мы рабы...» — вот и все слова этих словесных, — Груня кивнула головой на икону.

— Ты свои ли слова говоришь, Грунюшка?

— Свои — не свои, разве неправда?

— Неправда, Груня. Ты сейчас вся в неправде, ты утопаешь в неправде, а единственная, истинная правда, Божья правда, далеко теперь от тебя.

— Единственная? Истинная? А может, она у других истинная да единственная, а? Кто рассудит? А вот другие говорят: пока не скинем властителей небесных, не скинем властителей земных. А? Сильно сказано. Это какая правда?

Федю зашатало при ее словах.

— Это никакая не правда, Груня, — сказал отец Клавдий. — Это бесовское безумие. Ты морщишься от моих слов, твоя душа уже поражена страшной ржой... вся Русь сейчас ею поражена. Я за тобой давно наблюдаю, ты на страшном...

— Выслеживаете?

— Нет, Груня, наблюдаю. Наблюдаю и скорблю, ибо чувствую свое бессилие. Мне страшно, Груня, ведь я твой духовник, что я Богу за тебя отвечу?

— Оставьте, отец Клавдий, — серьезно сказала Груня. — Я разрешаю вас от этой ответственности, я сама за себя отвечу.

И с этими словами она снова повернула голову к лицу на сводчатой колонне: «Что смотришь на меня, Госпожа бывшая? У-у... взыскующе смотришь, беспощадно смотришь... А я не боюсь! Я отреклась от пути, на который Ты обрекла нашу сестру, я выбрала свой путь, и ничто меня с него не свернет!»

— Ты надменна и победительна. И даже не страшит тебя гибель души твоей.

»Кто это сказал? Отец Клавдий? Или Сама?.. Нет, не страшит! Мы здесь, на земле, будем строить свое царство, своей правды...»

— Я свободна, отец Клавдий? — Груня повернулась к священнику. Отец Клавдий развел руки чуть в стороны и уронил вниз:

— Да, конечно, ты свободна, Аграфена.

Груня резко развернулась и каким-то неженским, едва не солдатским шагом пошла к выходу, громко стуча каблуками. Тут Федя вышел из оцепенения и с криком: «Грушенька!» — бросился за ней. Все кто были еще в храме обернулись на

его страстный, отчаянный крик. Громче шепота никогда раньше Федя не говорил в храме. Ничего он сейчас не видел и не слышал, ничего не понимал, кроме того, что Груня его уходит навсегда. Уже на паперти он схватил, было, ее за руку, но она выдернула ее, да так, что Федя чуть не упал, и зарычала на него рыком звериным:

– И чтоб я не видела больше тебя! Выкинься из моей жизни! Жених...

Необыкновенное облегчение чувствовала Груня, удаляясь от храма. Пока она стояла в храме, то ли от лика этого, то ли от отца Клавдия на нее несколько раз то робость нападала, то тоска вдруг непонятная от головы до пят пронзала. Очень тошно ей было, и ее порывало то кинуться с кулаками на Богородицу и на отца Клавдия, то убежать без оглядки, то на колени перед образом упасть. Но могучее новое выстояло. И теперь она была спокойна и довольна. Едкощемящая ненависть коптила ее нутро. Бревногубый Рогов даже на стол вскочил от радости, когда узнал о том, как протекала и чем кончилась последняя беседа Груни со своим бывшим духовником.

– Браво, Груня, блестяще, я верю в тебя, дорогой товарищ! Теперь очередь за земными властителями! Идет наше время, приближается, скоро в дверь начнет ломиться, я его чую, чую, понимаешь? Чуешь, медом и тестом с завода тянет, вот и я его, время наше, чую. А ты?

Что-то отдаленно-тревожное, разумом не охватываемое, присутствовало в ней, но на вопрос Рогова она не могла ответить. Вообще она с каждой встречей все больше завидовала ему, его способности без оглядки переть по новому, огненному пути, завидовала, как он в момент выбросил Бога из себя – он очень весело и образно рассказал ей об этом: «Выбросил крест и Его с ним, и – все. И Его не стало. Нету Его, Грушенька!» Хотя и ей без особых мучений удалось избавиться от домостроевщины, но выбросить Его, чтобы со смехом сказать «нет Его!», так не получалось. Она просто отказалась Ему подчиняться. Но ограничиться таким отказом невозможно, так или иначе надо объявлять Ему войну до победного конца, поражение означает смерть, ибо просто отход теперь на прежние позиции так же невозможен, как невозможен только отказ подчиниться Ему, Живому. Его надо умертвить в себе. Только если мертв Он, если нет Его, возможно движение по тому огненному пути, на который она вступила. И пусть еще нет-нет да и появлялся перед ее глазами скорбящий лик Богородцы, она даже не старалась прогнать его, она спокойно глядела на него своим с каждым днем все более тяжелевшим взглядом. Иногда по ночам, в забытьи, она даже разговаривала с ним, разговаривала выкриками, от которых просыпалась в поту, но в конце концов лик от тяжести ее взгляда расплывался и выдавливался из сознания, а послесонная тревога быстро рассеивалась от первого весеннего ветерка. Когда с фронта явился вдруг молодой князь, Груня стала сама не своя – и днем маялась, и ночью не спала. Он, в отличие от домочадцев, заметил перемену в Груне. Груня чувствовала, что

под одной крышей с ним ей совсем невмоготу. Домочадцам молодого князя, кстати, тоже с ним невмоготу было. Гнетуще-тяжостная сцена появления Ивана Григорьича в родительском доме резко запечатлелась в памяти Груни, бревногубому Рогову она ее в подробностях рассказала. Неподвижно и безмолвно стоял молодой князь в дверях и глядел на бант на груди отца, так глядел, будто там скорпион сидел. Груня же подумала, что на скорпиона бы он так не смотрел. Она не видела его взгляда, она стояла за спиной его, но она видела его лучше их всех, его родственников, обрадованных его приездом и смущенных и удивленных тем, как смотрит он на бант на груди отца и никого и ничего больше не видит.

Старый князь поправил бант, придал лицу значительное выражение и сказал, гмыкнув перед тем:

– Быть может, поздороваемся, Иван? Лично я рад тебя видеть.

Иван Григорьевич опустил глаза и, ни на кого не глядя, сказал тихо:

– Я тоже рад вас видеть. Радуетесь?

Ответил Агарков, на котором банта не было:

– Так, Ванюша, будем мы радоваться или горевать – что мы изменим?

– Вы – ничего, – так же тихо ответил Иван Григорьевич и добавил: – Что могут сделать самоубийцы после самоубийства? – И пошел к себе, и даже мать не обласкал.

– М-да, – сказал после его ухода Агарков, – однако бантик-то, Григорий, хотя бы к его приезду можно было бы и снять.

– Да кто ж ждал его приезда? Да и забыл я про бант этот. А про самоубийц слушать не желаю. И тем более от сына, да-с!

Марья Антоновна тихо вздохнула, сняла с себя бант, покачав при этом головой, и пошла к сыну.

Бревногубый Рогов поддержал решение Груни уйти от Загряжских. Он подыскал ей комнатенку в Коломенском, рядом с домом, в котором сам жил, и однажды под утро она покинула дом Загряжских, просто ушла, не сказав им ничего. И даже расчет не взяла. И тут уж с головой ушла в работу совдепа, на лету схватывая от Рогова то, что нужно было для этой работы. А момент требовал одного – армию разваливать, так объявил ей бревногубый Рогов вдохновенным голосом:

– Мы в глубоком тылу, и все тыловые части должны быть нашими, понимаешь, Аграфена?

Она понимала. Только ей казалось, что почти все войска, в Москве находившиеся, уже их. Вообще солдатни шаталось по Москве столько, что

невольно думалось: а остался ли кто на фронте? Судя по бодрому тону «Русской речи», еще кое-кто остался.

— Нет, Груня, это политическая ошибка думать, что все они уже наши, — внушал Рогов, Груня во все уши слушала. — Ты думаешь, солдатам этим, что в наш совдеп шастают, им что нужно? Чего хочется? Им хочется на фронт не идти. И это хорошо! Но у них нет еще понимания, что винтовки их в князей, в загряжских, обратить надо, злости классовой нет. Вот наша задача, понимаешь? И вот кто этой злостью других вооружить может — тот и есть вождь. И в тебе я чую такой дар, Аграфена. А чую я всегда безошибочно. В тебе куется железо, Аграфена! Верь мне и не оглядывайся, не смущайся полом своим, перед тобой еще многие мужики трепетать будут. Да, железо наше — основа нашей победы. Мир еще содрогнется, когда это железо в полный голос залязгает, только железом перевернешь старый мир, что стоит на пути к царству высшей справедливости! Когда мы — ничто — станем надо всем! И миллионы счастливых членов царства будут послушны единому движению пальца вождей своих — нас! Это будет высшая гармония на земле, и будет посрамлена гармония умершего Господа Бога. Мы — вершина, а там, среди миллионов, — полное равенство во всем, нет голодных, нет недовольных, все — строители царства! Но путь к этому через железо! А на пути стоит князь Иван Загряжский. Отбросив милосердие, отбросив даже намек на жалость, отбросив всякое слюнтяйство, всякое чистоплюйство, — всех и все растоптать, кто против, иначе растопчут нас. Всех и все — это надо осознать, Аграфена, это не просто слова, а действительно — всех! и все! Мир содрогнется от невиданного масштаба наших разрушений, и тем хуже для него. Все содрогающееся будет уничтожено! Сгорит в пожаре мировой революции! Понимаешь?

Груня понимала. И целиком теперь готова была отдать себя этому замечательному делу. Она до дрожи, до упоенного помрачения вдохновлялась такими речами бревногубого Рогова. Он видел это и старался вовсю. Шнырявшие в совдеп и из совдепа вскоре стали относиться к Груне очень серьезно. Одним коротким взглядом она пресекала всякие двусмысленные поползновения на свой счет, неизбежные со стороны нетрезвой солдатни. Да и что-то появилось в ее облике такое, что само останавливало разболтанных войной и безбабьем солдат. Изменилось выражение ее глаз. Поеживались те, кто попадал под их тягостное давление. Лицо ее, исхудавшее и осунувшееся, стало аскетически жестким и каким-то мертвенным, украшавшие его женские живинки, девичья мягкость черт — все это исчезло, ямочки на щеках стали впадинами-оврагами, тонкие синеватые губы ее были большею частью сжаты, и над всем этим царил, будто выструганный из посеревшего старого дерева, широкий с горбинкой нос с постоянно шевелящимися тоннелями ноздрей. Античный профиль стал профилем римского воина перед боем времен самых блестящих побед римского оружия. И огромный спрессованный клубок роскошных волос на голове казался совершенно лишним. И

вскоре она его срезала. Тогда же она сменила юбку на галифе, а вместо блузки надела френч зеленый, а на него артиллерийскую кожаную тужурку. Ничего женского теперь не угадывалось в ее облике, и когда прохожие узнавали-таки в ней женщину, они оторопело останавливались и долго смотрели ей вслед. Худая, сутулая, оторопь наводящая на всех, перед кем вдруг возникала, она являла собой небывалое перерождение человека, возможное только в небывалое время, новую, небывалую волну которого так чуял и ждал бревногубый Рогов. И Груня теперь чуяла и ждала. И наконец дождались они. Пошло ломиться времечко во все двери, как то предрекал Рогов, да так ломиться, что только держись. Горе тем, кто не ожидал его. А таким, каким оно явилось, его не ожидал никто. Таким кровавым, таким беспощадным. Русский человек, с восторгом напяливший в феврале красный бант, но в котором еще задержались остатки трезвого мышления, теперь, ломая руки, взывал: «А я, дурак, ходил, орал: долой царя!»

Распахивались русские двери, срывались с петель, сметались от напора ломившегося времени в лице пьяных солдат, фабричных рабочих и прочих обывателей с комиссаром Груней во главе. Хозяева жилищ, куда врывалось невиданное доселе времявышибало, только было ощериться собрались, но едва только пали первые из них у своих вышибленных дверей, пронзенные штыками, как остальные, парализованные ужасом, съежились, зажмурились, втянули головы в плечи, опустили руки и решили, что спрятались. Извека мстившая вышестоящим, бунтующая чернь останавливалась инстинктивно перед капитальными устоями, на которых стоит мир, ибо ломка их грозила гибелью и ей, но вот теперь ломалось все. Новые вожди новых бунтарей исступленно звали-погоняли: вперед! – и, очарованные призывом, жадные до разрушения солдатушки-ребятушки, не пошедшие на фронт, долбали яростно штыками остатки вековечных устоев, неся на тех же штыках беспредельную, небывалую власть своим сверхухватистым вождям. Краснобантная Москва оказалась неспособна к сопротивлению и сдалась почти без боя, хотя наглый напор можно было остановить. Робели ревгусары перед силой и еще как робели! И в панику кидались. Но почти повсеместное отсутствие такой силы с каждым часом придавало напору все больше уверенности, пока она не перешла в ощущение полной безнаказанности. Лишь кое-где кучки мальчиков-юнкеров дрались насмерть. Одна из таких кучек вышибла ревгусар из огромного, доминирующего над площадью дома у Никитских ворот и заняла там оборону, преграждая путь к Кремлю от Садового кольца. И даже когда Кремль пал, эта кучка продолжала драться, вызывая неописуемую ярость у бревногубого Рогова и Груни, подчиненные которых никак не могли взять этот последний антибольшевистский оплот в Москве. После двух десятков штурмов Рогов прицепил к палке экспроприированную белую простыню, поднял это сооружение над головой и почти бегом пошел к дому. Груня рванулась за ним.

– Ты куда? А ну назад! А тут кто?

– Кряк за нас справится, а я с тобой пойду...

– Веди к командиру, – рявкнул бревногубый Рогов загородившему ему дорогу юнкеру, когда они пересекли площадь.

– А ты не ори, на своих бандитов будешь орать, – спокойно сказал юнкер.

– Это вы бандиты, а мы – красногвардейцы.

– Чтобы это заявить, ты и пришел сюда с белым флагом?

И тут Груня увидела князя Ивана Григорьевича. Он вышел из дверей и стоял неподвижно, ожидая, и глядел поверх голов парламентеров.

– Пошли назад, Рогов, – громко сказала Груня, – будем штурмовать.

– Погоди, не встrevай! Слушай, поручик...

– Это Загряжский, Рогов.

– А-а... вот оно что. Да, мир тесен... Вот вы, значит, какой...

– Так что вам угодно, господа парламентеры? – спросил Загряжский.

– Иди к нам, князь, серьезно тебе говорю, – бревногубый Рогов подался к Загряжскому. – Все равно крышка вашим. А у нас тебе дивизию дадут, а то, может, и больше. Думаю, у того прaporщика, что нынче главковерхом, и дым пожиже и труба пониже твоей. Что скажешь?

– Для этого пришли?

– Пришли, чтобы вы прекратили бесполезное сопротивление. Что Кремль взят давно, это хоть знаете?

– Знаем.

– Ну так что?

– Не смею задерживать.

– Вы не узнаете меня? – спросила тут Груня.

Князь взгляделся:

– Груня!

– Я, Иван Григорьевич.

– И... и кто же ты теперь?

– Я твой могильщик, князь...

– Хм. Да я еще живой, Груня.

– Вы обречены.

— Может быть. Однако, Бог даст, я все-таки поотшибаю руки тебе и компаньону твоему.

Груня развернулась и пошла назад. За ней поспешил и Рогов.

Двадцать первый штурм также был неудачен, а двадцать второго не было, князь сам пошел на прорыв с остатками отряда своего и прорвался, а на Спиридоньевской растеклись-рассеялись по одному. Да их почти и не преследовали, главное — последнему форпосту контрреволюции в Москве конец, так и рапортовал бревногубый Рогов. Настроение у него было великолепное, хрен с ним, с Загряжским, свидятся еще — сведет еще Бог — так и сказал он и себе, и Груне.

— Ну, а ты чего развязился, — накинулся он на солдата своего. — Мертвых, что ль, не видал?!

Солдат неподвижно застыл над убитым юнкером. Мертвый лежал на мостовой, а голова его лежала в луже собственной крови. Лужа была небольшая и круглая и точно ореолом святости обрамляла голову.

— Ангелочком лежит, — сказал бревногубый Рогов. — Ты, что ль, его?

Солдат кивнул.

— Ну и молодец. Чего так глазеешь? Не ты его, так он тебя.

Потом, когда крови будет не лужа, а море, убийцы не будут так глядеть на убитых. Пока же первые трупы на московских улицах и площадях ошеломляли еще некоторых нерешившихся: в пылу боя перешагнул через него, но вот бой миновал, остыло, и ужасом пронзена душа, еще не исторгшая из себя старое уложение.

Побывала Груня и в селе родном по делам продразверстки, когда пришлось расстрелять двадцать бывших односельчан за то, что хлеб спрятали и не поверили Груниной угрозе, что кто сам не сдаст, тому плохо будет. Не взяли в толк односельчане бывшие, не поняли, что «плохо» — это пуля в лоб. Или куда там придется.

Когда мать увидела Грунью, с ней столбняк сделался и она поседела враз. Все от галифе дочкиного — никак глаз оторвать не могла. Учительша тоже поражена была, но быстро в себя пришла и обличать сразу бросилась:

— Вы растерзали революцию, вы растоптали свободу!

— Мы растоптали вас, — отрезала Груня. — А свободу мы взяли себе. Вы — прирожденные рабы.

— Мы — рабы?! — опешила учительша.

— Вы! — рявкнула Груня и пошла прочь от нее.

Когда расстреливали, к Груне солдатик подбежал:

- Товарищ Аграфена, там один орет, что он отец твой, что делать?
- А вы что делаете?
- Как? Так ить – расстреливаем.
- Ну так и расстреливай!

Потом она обходила убитых и увидела труп отца. Долго смотрела на него.

- Тоже прятал? – спросила подошедшего бревногубого Рогова.
- Наверное, – тот пожал плечами. – А кто это?
- Так... Эй! Что вы с лопатами! Сами зароют, поехали...

Заглянула она тогда и в Загряжское, хотя и чувствовала, что никого и ничего она там не найдет, – уж наверняка на Дону где-нибудь. Она почему-то уверена была, что рано или поздно где-нибудь встретит его, и рвалась во все места, где он мог быть, по ее предчувствию. После падения дома на Никитской она сразу ринулась к особняку Загряжских. Старый князь и все семейство пришли в трепет неописуемый, когда Груня заявила к ним со своими орлами. Не исключая и Агаркова, который удивлен был, пожалуй, больше всех, хотя и объявлял всегда, что он давно уже ничему не удивляющийся наблюдатель жизни и что только одно его может смутить: если вдруг Шаляпин петь перестанет.

– Где Иван Григорьевич? – грозно спросила Груня, обводя всех пристальным взглядом.

Ответил Агарков:

- Так ведь, Грунюшка, тебе, поди, лучше это знать. С вашими небось дерется.

Груня подошла к Агаркову и, задумчиво оглядев его, сказала:

- Вот вы, Андрей Ананьевич, и найдете его.
- Как это? – растерянно, но с некоторыми дольками сердитости спросил Агарков.

– Да так это! Думаю, вы знаете, где он может быть. А все остальные здесь останутся заложниками. К завтрашним восьми утра не приведете его – заложников расстреляю.

- Как?! Шутишь, Груня?
- Шутки кончились, Андрей Ананьевич. Это вы все в шутки играли.
- Но... ты не сделаешь этого, Груня.
- Еще как сделаю, Андрей Ананьевич. Вот так сделаю, – она выдернула из кобуры револьвер и выстрелила в большую семейную фотографию на стене.

Все ахнули, вскрикнули, Агарков просто окаменел, Грунин револьвер едва уха его не касался. А Марья Антоновна после вскрика и оцепенения бросилась к фотографии: лица молодого князя, еще мальчика, не было – разворотило пулей, между серьезными родителями сидело в матроске нечто безголовое, от дыры с черными краями ломаными молниями разбегались трещины в стекле.

Забыв про все, Марья Антоновна кинулась к Груне:

– Ты... дрянь!.. чернавка!..

В полу шаге от направленного на нее ствола револьвера остановилась, замерла. Ухмыляющиеся губы Труни проговорили:

– Завтра в восемь ноль-одна вы получите такую же пулю себе в голову. Вы теряете время, Андрей Ананьевич. Считайте себя тоже заложником, скроетесь – все равно найду.

– Теперь я верю в это, товарищ Аграфена, – сказал Агарков одеваясь. – Я не буду скрываться. Я могу идти?

– Давно пора, я же сказала – время теряете.

За то, что случилось чуть позже, Груня до конца дней возненавидела Рогова: явился гонец от него и передал ей срочный и категоричный приказ явиться на Скобелевскую площадь, в бывший генерал-губернаторский дом по каким-то неотложным делам. Груне совершенно было наплевать – каким, все дела ей ерундой казались, одно дело было сейчас в ее жизни – князя молодого дождаться. По телефону Загряжских она разыскала Рогова и стала орать в трубку:

– Да какие там дела, рехнулся ты... я князя Ивана жду, вот что... Да, да – без меня обойдется... Я должна... не понимаешь?! Да знаю я ваши два часа, пока все соберутся – пять пройдет... да... да... хрень ты бревногубый, вот что! – и Груня свирепо бросила трубку на рычаги.

Наговорила кучу угроз своим орлам на случай, если князя без нее упустят, и умчалась на Скобелевскую. Тоскливо и безмолвно выла ее душа от скверного предчувствия, и усиливало это чувство явившееся ощущение, что не зря, не просто так сорвали обстоятельства важнейшее дело, что вновь ненавистная сила, ни от кого не зависящая, неотвратимая, устроила так...

»Застрелю гада», – такая мысль металась по всему ее нутру, пока сама она металась по лестницам губернаторского дома, разыскивая Рогова, его же и имела она ввиду. Повезло бревногубому, что не попался он Груне. Один раз, правда, остановилась она вдруг на мгновение посреди мраморной лестницы и рассмеялась в голос, оглядываясь, – да ведь генерал-губернаторский дворец! Ха! Мыслимо ли – она, горничная, чернавка! стоит на этой мраморной лестнице хозяйкой! И плонуть на мрамор можно и ничего не будет тебе! – Груня с удовольствием плонула и

сразу про князя вспомнилось, удовольствие смело и опять Груня понеслась по лестнице...

Не зря выла ее душа. Агарков нашел князя Ивана Григорьича, нашел в доме генерала Артьева, убитого в весеннем наступлении на германцев. Вдова Анна Андреевна, на глазах которой вырос Иван Григорьевич, любившая его как родного, решительно воспротивилась уходу его:

– И их не спасешь, Иван, и себя погубишь. Да не могут же они стариков ни за что расстрелять! Пугают.

– Нет, Анна Андреевна, не пугают, – сказал князь. – Я думаю, наш наблюдатель жизни это подтвердит. Как наблюдается, Андрей Ананьевич?

– Перестань, Иван. Зубоскальство не твой стиль. Я с тобой.

– Нет уж, я один. Все будет в порядке, Андрей Ананьевич, вы мне только помешаете. Хочу, чтоб наблюдения ваши продолжились. Думаю, впереди уйма интересного.

Вздохнул Агарков и сказал:

– Я, пока сюда брел, вот чего придумал: совершеннейший вздор, будто поступку человека предшествует какой-то там историзм, будто он вытекает из чего-то. Мгновенное решение воли – вот вам и поступок.

– Но это ничего не объясняет, – сказала вдова.

– А ничего и не надо объяснять, я наблюдатель, а не объяснитель. Зато это предостерегает – жди от человека всего чего угодно.

– Болтун ты, Андрей, – проворчала вдова.

Без Груни потерявшие бдительность, расслабившиеся орлы ее, засадники, смяты были и обезврежены в течение минуты. Лучше всего отделались двое с винтовками у дверей – всего лишь беспамятством от удара кулаком по голове, остальные четверо по пуле получили и даже толком удивиться не успели. Груне же, заставшей только картину разгрома, скрежетать зубами осталось, проклинать Рогова и неотвратимость обстоятельств и ждать новой встречи с князем.

А тот вез к вдове Артьева своих домашних в семейном экипаже, в который запряжен был его верный серый Султан. Один раз остановили: кто такие, куда? Какой документ имеете? Иван Григорьевич слез и предъявил свои кулаки. Потом ехал и чувствовал спиной взгляд старого князя, как бы говоривший свое всегдашнее: «А все-таки груб ты, Иван...» Так счастливо освобождены были первые заложники новой власти в Москве.

Вторым не повезло: они тоже были собраны Груней, и хоть не было там родни Ивана Григорьевича, дело с ними она довела до конца. Не была убрана от

снега Лубянская площадь, как то требовала новая власть, а убирать должно было буржуйско-дворянскоупеческое отребье, и объявленный заранее приговор на случай невыполнения задания был приведен в исполнение. Быть может, с расстрелом и подождали бы, да опять обстоятельство непредсказуемое подогнало – жизнь опять столкнула Груню с Федей. Тот сразу узнал свою бывшую невесту. Покачал печально головой и ничего не сказал, смотрел только юродствующе. Чего изменилось в нем, не тот стоял перед ней Федя, которого она видела последний раз в храме. И очень эта перемена не понравилась Груне.

- Ты зачем здесь? – спросила она грозно.
- Снег убираю, Грунюшка, аль не видишь?
- Ты-то при чем?
- Так за Пантелей Егорыча, он же немощен, какой из него уборщик, а родственников нет у него, ты ж знаешь.
- Так не вышли их родственники, Федечка, а одному тебе не убрать до завтра, так что зря стараешься.
- Неужто расстреляете?
- Обязательно. Кого ж бояться, не тебя ж.
- А... а гляжу, смотришь ты на меня и вправду будто боишься... и глаза отводишь.
- Я?! Тебя?
- Ага, ты – меня. Как же вы дальше-то будете, Грунюшка, коль даже снег убрать без винтовок не можете?
- Да так и будем, Феденька. Винтовка – она самый универсальный экономический рычаг. Понял хоть, что я сказала?
- По-о-нял, как не понять. Набралась ты.
- А ты все телятниковские миллионы ждешь?
- Нет, Грунюшка, не жду, нет больше ничего у Пантелей Егорыча. Рычаг ваш этот... универсальный... Да оно и слава Богу. Ничего теперь не нужно, одного хочу, чтоб не просто от шальных штыков вашего пропасть, а за Христа Спасителя жизнь кончить.
- А потянемшь? – зловеще спросила Груня и приблизила свое лицо к Фединому. – А то ведь и устроить могу по старой памяти.
- Что ли крестный ход завтрашний расстреливать собирались, как в Туле расстреляли?
- Нет, послезавтра Зачатьевский монастырь закрывать будем.

– Как это, закрывать?

– Так, на веки вечные.

– Вы – и на веки вечные? – Федя вдруг широко улыбнулся. – Какие у вас веки, Груньюшка, да еще вечные, что тебе-то до этой вечности? Весь мир ты приобрела, а душу, душеньку-то свою бессмертную на что обрекла? – и Федя горестно закрыл лицо руками. – Ведь как любил я тебя, Груньюшка! И сейчас люблю...

– Да залюбись ты, жених, – прошипела Груня и, дернув Федю за волосы, пошла дальше.

Набатный звон всех колоколов Зачатьевского монастыря звал москвичей на защиту, но звал тщетно: десятка три их всего нерешительно стояли у ворот и, судя по их виду, жалели очень, что явились, и думали только, как бы назад прорваться сквозь оцепление вооруженных солдат и штатских в кожаном, которые, видимо, шутить не собирались. Уже сгинуло то время, совсем-совсем еще недавнее, когда на колокольный звон толпы громадные сбегались. Всем уже была знакома беспощадность новой власти.

Среди всех очень живописно гляделась фигура Груни. Стояла она как раз посередине, между цепью и толпой у ворот, стояла расставив ноги и заложив руки за спину. Из толпы вышел Федя и, подняв руку, закричал солдатам:

– Православные, что ж вы делать-то собирались, одумайтесь! В мерзость запустения дом Божий обращать, что страшнее того? Душу свою пожалейте!

Нельзя было давать ему еще говорить, не зря не понравилась Груне перемена в Федоре. Хоть вроде и не сказал ничего путного, но от его слов начала цементироваться маленькая толпа у монастырских ворот и начали разжигаться цепи Груниных орлов. Мгновенно учゅяла это Аграфена. Она подняла револьвер и двинулась к Феде.

Ухмыляясь, начала говорить:

– Ну вот и поладили, Феденька, видишь, как я желание твое удовлетворяю... ишь ты какой стал... Божий одуванчик... бла-жен-нень-кий. А что, если я шкуру твою сейчас строгать буду, как тезке твоему, Федечке Стратилату, а? Ведь отречешься, отречешься, блаженненський! А?! А ведь строгану я тебя, гада, думаешь – пулей отдалешься?.. – палец Груни вдруг как-то сам собой нажал курок. С грохотом выстрела слился ее страшный выкрик, будто испугалась, но продолжала стрелять, стрелять, силясь попасть в остановившиеся уже Федины глаза. Не видела она с воплями разбегавшуюся толпу, она видела только глаза эти, и – будь они прокляты! – никак в них не попадалось! Федя, уже мертвый, стоял на коленях, почему-то не падал, глаза его остановившиеся глядели прямо в Груню, и

радость, особая, непонятная, застыла в них, и никами пулями не вышибить ее. Наконец рухнул Федя навзничь. Груня нависла над ним, и остановившиеся мертвые глаза опять глядели в Груню. И радость ненавистная осталась в них. Веки бы прикрыть, но невозможно руки протянуть. Лицо Федора было сплошным кровавым месивом. Груня саданула сапогом, голова откинулась и легла на мостовую тем, что раньше было щекой. И невидимые теперь для нее, устремленные к убегающей толпе глаза убитого все равно смотрели на нее, Груню. Так ей казалось. Она перешагнула через тело и пошла вперед.

Оказалось, что монастырь освободили для совместного пользования двух наркоматов – просвещения и призрения. И сразу после разгона всех лиц из монастыря, не имевших отношения к указанным наркоматам, туда явилась в сопровождении огромной свиты патронесса призрения, она же член наркомата просвещения, она же член ЦК, – женщина с яркой внешностью и печатью томной чувственности и революционного вдохновения на тонких аристократических чертах беломраморного лица. Товарищ Александра. «Барыняка-дворяночка», – подумала Груня, но сразу же призналась себе, что это не совсем так. Конечно, и барыня, и дворянка, и небось дворянство древнее, уходящее в глубь времени.

Что-то мощное, глубоко природное, чуждое Груне, что пощупать – не пощупаешь, но оно явно есть, сквозило в каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом повороте головы товарищ Александры. Но было и такое, чему остро позавидовала Груня. Не эта врожденная гордость, осанистость – как она на стул села, кем-то из свиты поставленный, – королева! Нет, все это чушь. Но вот выпукло-зримая привычка повелевать, умение повелевать, как должное принимать подчинение и даже поклонение, ум сразу классовую суть ситуации схватывающий, – это не чушь. Все, что обрисовывал когда-то Груне Рогов, что будто бы вождю необходимо, все это имелось у товарищ Александры. Имелось и такое, чего нет и не будет ни у нее, ни у Рогова, ибо нет за их спинами векового дворянского бытия-сознания. И кому, ка не товарищ Александре, знать, как расстаптывать-из водить это бытие-сознание у других... Что заставил ее влиться в то движение, что обрушилось сейчас и старую Россию? Этого Груня не понимала. А ведь не судьба заставила. Сама, сама себя (и с радостью) переделала из дворяночки в товарищ Александру. И дворянкой осталась. И удовольствиями женскими и пренебрегала. Был у нее и муж второй, разведеннып и друг революционный, и не кто-нибудь, а сам Дыбенко, и плотоядные взгляды окружающих мужике она воспринимала как дело естественное и считал; видимо, что иначе и быть не может.

Груне не понравилась патронесса призрения. Уверена была Груня, что между ними стена непроходимая. И не чувствовала ни малейшего желания эту стену преодолеть. И хоть они в одной лавине мчатся, в одной упряжке взнужданы, общая идея у них и цель, разные они! Так думала Груня, в упор разглядыв; патронессу,

товарищ Александру. И зло ее разбирало. Чувствовала превосходство патронессы и злилась еще сильней. В крови у патронессы ощущение превосходства над такими, как Груня, да и как а Дыбенко (тоже ведь пролетарская кость). И как бы ни старалась патронесса, не побороть ей в себе этот И еще подумала Груня, что, пожалуй, товарищ Александра также в кого угодно разрядит обойму, как Груня в своего Федю. Эта мысль чуть ослабила ее злость.

– Рада с вами познакомиться, товарищ Аграфена, – сказала товарищ Александра и подала руку. Сказала так, будто было это салонное знакомство в светской гостиной. – Рогов в восторге от вас, – добавила она и не могла при этом сдержаться от двусмысленной улыбки, впрочем, едва заметной.

– А ведь я видела вас раньше, – продолжала патронесса, – не помните?

Груня отрицательно мотнула головой.

– У Загряжских. Я же до четырнадцатого года бывала у них. Вы тогда совсем другой были, вы здорово изменились.

– Всё здорово изменилось, все здорово изменились.

– Это верно, – патронесса рассмеялась. – И то ли еще будет!

– Упустила я Загряжского, век себе не прощу.

– Какого? Ивана? Молодого?

– Ну не старого же... В доме Артьевых искать его надо было.

– Да, князь Иван экземпляр редкий, – взгляд патронессы стал задумчив и отвердел. – Я думаю, комиссию даже стоит создать по выявлению и ликвидации таких экземпляров в масштабах страны. Это здорово облегчит нам выполнение наших задач.

– Верно! – глаза Груни загорелись. – Один такой одним видом своим скольких взбаламутить может! Меня в комиссию включите!

– Непременно. – Хочу еще вас спросить.

– Да, слушаю.

– А почему вы с нами? Ведь по вашим бьем, ваше разрушаем.

Вот когда глаза патронессы окатили Груню надменной иронией, едва не презрением. «Это не мы с вами, а вы с нами, это мы вас вытащили из кухонь загряжских, от плугов, от станков оторвали, без нас так бы и гнить вам там. Идея может исходить только от нас, работающее стадо не может рождать идеи, не может глянуть на себя со стороны», – вот о чем безмолвно говорили яркие томные глаза. Вслух же патронесса сказала загадочно-задумчивым голосом:

— Почему? Хм. Понимаешь... а я думаю, ты понимаешь... Когда донесена до тебя идея и ты загораешься ею, тут уж плевать, по чьему она там бьет, чье разрушает. Свое, кстати, разрушать гораздо сладостнее. Так вот, ты чувствуешь, что если не будет твоего личного участия в воплощении идеи, то это катастрофа. Или не стоит жить совсем, или жить только воплощением этой идеи. «Одержанность гордыней и бесовской страстью разрушения», — ха-ха-ха, так называл это один архимандрит, наш дом посещавший. А я и подумала тогда: «А ведь затащу я тебя в свою постель, клубок толстобрюхий!» И ведь затащила! Гениальным любовником оказался! А когда ряску с клубочком надевал, от меня уходя, изрек цитату: «Что говорят — слушайте, а по делам их не поступайте...» Я прямо изошлась хохотом, а он-то ну хоть бы покраснел, хоть бы смущился, даже головой укоризненно покачал. А как канон покаянный читал, рыдал ведь, какие проповеди читал! И ведь не актерствовал, а искренно рыдал, подлец. Мой доблестный Дыбенко до сих пор этого мне простить не может. А как умирал! Они все, кстати, своеобразно умирают. Мой Дыбенко маузер на него наводит, а я сзади стою, покуриваю да поглядываю. «Последнюю просьбу, — говорит, — исполните. Дайте на молитву пять минут», — а мой Дыбенко говорит: «Много тебе пять минут, одной хватит. Не примут, — говорит, — там все равно тебя. Не за Христа, — говорит, — ты сейчас смерть примешь. Месть это моя тебе за то, что был в постели возлюбленной моей». Ха^ха-ха... «Мне, — говорит, — помолись, чтоб простил, передо мной на колени стань, — жить останешься». Не стал, принял-таки смерть. Вольному воля, жизнью они не дорожат. Да и кто ею сейчас дорожит? Вот вы дорожите?

— Да, — сказала Груня, очень удивившись вопросу, — раз идея великая, различное участие, то как же жизнью не дорожить, какое ж участие у мертвого?

— А я — нет, не дорожу. Когда Александро-Невскую лавру закрывали, в Питере, я закрывала, ох и напугалась я, когда толпы на набат сбегаться стали, сразу вся как мышь взмокла, и поп этот с фамилией монархической, как его... Скипетров, имя забыла, все подстрекательствовал, и чего вылез... Выстрелил мой Дыбенко, и — наповал. Ну, думаю, все — растерзают. И, знаешь, совсем не жизни жалко стало, а того, что дальнейшего не увижу, что дальнейшее без меня. А у них и спесь вся вон — разбежались.

Не поняла Груня, правда или нет, что не жизни было жалко товарищ Александре, не знала — верить или нет, что-то избыточно-вычурное звучало в голосе патронессы. Вообще этих дворян не разберешь, что у них взаправду, а что красного словца ради, и когда им в самом деле страшно, а когда — нет: вон старая княгиня Марьantonна от хлопанья двери в обморок падает, а всего лишь из-за искалеченной фотографии чуть ли не на пулю бросилась.

– М-да, идея, – продолжала патронесса, – чего не сделаешь ради идеи, – она вся прямо излучала спокойствие, раскованность, самодовольство и артистизм. – И, знаешь, что, на мой взгляд, самое волнующее, самое прелестное в нашем деле? Его непредсказуемость. В июне я, помню, говорила Ленину – без толку на улицы народ выгонять, рано, разгонят и людей оттолкнем. А он мне по-наполеоновски: ввязнемся в бой, а там посмотрим. Всей продуктивности этого принципа я не понимала тогда, а теперь вижу – только так и надо. Наполеон – это тот, кто против Кутузова воевал, француз, это его фраза. Момент непредсказуемости всегда атакующему на руку. И атаковать напролом, до конца, рассудку вопреки, до конца!.. А конца этого нет, и это прекрасно. Эта мысль, что до конца, что рассудку вопреки, она должна в кровь нашу въестися, в сознание въестися, все вытеснить. Только так. Вот как думаешь, чем царь Загряжскому не потрафил? Я старого имею ввиду, Григория. А ничем. Только тем, что ему тоже личного участия хотелось, и казалось, что этого участия у него мало. Ну и думал, царя не станет, вот уж тогда поучаствует. Как бы не так, мы – тут как тут, а против нас куда ж ему. Этого-то и нет у них, чтоб до конца, напролом, и вот это-то вот они и не понимали про себя, когда под трон подкапывали. Вообще про себя никто не понимает. Кроме нас. И понимать-то всего надо, что останавливаться нельзя, что – до конца... которого нет. «Всего»... Как много это!.. Вообще-то я благодарна своему дому. Свободно мыслить обо всем – это у нас нормой было. Каждый обед мама поднимала тост за здоровье государя императора: «А теперь, – говорила, – выпьем за здоровье Николки– дурака». А отец, если чего натворю, так говорил: «Плохо вести себя будешь, за попа замуж отдам». Я прямо трепетала, ха-ха– ха... М-да, ох уж эти попы... Одно жаль, что Собор не разогнали, патриарха успели избрать. Ну да ладно, тем интереснее. Мой толстобрюхенький архимандритик, Царство ему Небесное, тоже успел там поучаствовать. Слыхала, что и Загряжский молодой там был?

– Не знаю.

– Да ты не расстраивайся, товарищ, – патронесса положила руку на Грунино плечо. – Никуда он не уйдет от нас, никто не уйдет.

– Он от меня не должен уйти.

Мысль эта неотвязно присутствовала в дальнейшей Груниной жизни, что бы она ни делала, а делать много пришлось. Каждое новое дело отодвигало предыдущее, и оно, отодвинутое, тут же забывалось, ибо каждое новое было великим и требовало полной отдачи, а новое новое казалось еще более великим, еще более неотложным. Когда вышел указ по Москве и по всей России снять-ликвидировать вывески всякие с домов – фамильные и фирменные, ибо ликвидировалась частная собственность, Груня самозабвенно гоняла по Москве на грузовике с дружиной орлов своих и душа ее пела-радовалась. В грохоте падения вывесок ей виделось нечто эпохально-мистическое – нет больше магазинчиков

Елисеевых, всяких там Зингеров, Телятниковых, а есть и будет Госмоспродраспред! И тихие граждане при нем. А грохот от падения вывесок действительно был значителен. Сами бывшие хозяева и должны были, согласно декрету, сдирать свои фамилии с названиями фирм. Ломами, топорами, кирками, щипцами, молотками, пилами, зубилами, по карнизам лазая, в нелепых позах, в поте лица, бывшие хозяева отдирали вывески. Тяжко оттиралось, крепко в свое время прикрутили. Точно баррикады, валялись по Москве груды вывесок и обломки их.

— Па-аберегись, — гремело и орало сверху, и с шестого этажа доминогромадины у Красных ворот страшно низвергался десятиметровый, десятипудовый призыв «Покупайте конфекты Коновалов и Сын». И Труня гоняла, понукала, чтоб шустрей низвергалось, — таково было ей особое задание от самого Загорского. Тогда и узнала Москва по-настоящему, что есть комиссар Груня, тогда и пошло гулять — «ожелженя». Не знала она, что и Загряжский молодой в тот день в Москве был. И ему тоже тот день виделся эпохальным. Будто потерянный ходил он по Москве и смотрел. Ходил при полной форме, в погонах, со всеми «Георгиями» на груди. Сопровождавший его Безобразов, в штатском, только вздыхал и морщился, когда ошарашенные прохожие таращились на них. «Офицерье» давно уже было в Москве на главном прицеле у новой власти.

— Иван, — тихо говорил Безобразов, — по-моему, Бога ты искушаешь. Ну для чего так рисоваться?

— Оставь, Василий. Иди на квартиру, сказал же тебе.

— Да никуда я от тебя не уйду.

— Не могу я, Василий, ничего другого носить, кроме этого.

— Рра-а-зой-дись, православные, э-э! — послышалось тут сверху. Оба отпрянули под арку — прямо на них планировал, колыхаясь в воздухе, огромный жестяной лист с нарисованным на нем чем-то вкусным. Это вкусное созерцал также нарисованный усатый господин с довольным лицом. Довольное лицо врезалось в фонарный столб и со звоном грохнулось на камни. Лист остался лежать, ощетинившись ржавыми гвоздями в небо.

— Пойдем, Иван, не на что тут смотреть.

— Нет, Безобразов, очень даже есть на что.

— Нет, Иван, не на что и незачем, хотя зрелище, конечно, богатое.

Загряжский ничего не ответил, он смотрел на старика, стоявшего на высоченных козлах. Старик с плачем долбил ломом по щиту, на котором значилось: «Горшанинское пиво — лучшее из пив». Старик безуспешно колотил и

ругался, что вот потрафил Горшанину, а теперь что делать? «Что делать-то?» – несколько раз истерично крикнул он, к вывеске обращаясь.

– Да пусть сам Горшанин и снимает, – сказал Безобразов.

– Э, господин хороший, где его счас искать, Горшанина-то, а спрос-то с меня, не отбрешешься, не отбояришься... – тут взгляд его упал на Загряжского, и он оторопело замер. – Ишь ты! – вымолвил он восхищенно. – А зря вы так, господин офицер, зря, – бравада ваша зряшная, сами же их на грех толкаете, – и он снова стал долбить.

Прибывшая через час Груня увидела, что так и не отдолбил старик ломом вывеску. Очень она рассердилась. Но и старик тут вдруг вспылил, прорвало его:

– Да что тебе вывеска эта, кость бы в глотку ей! Сама сбивай, нету Горшанина, нету пива больше, да содрать-то ее как?! Офицерье по всей форме тут шляется, а вы хреновиной всякой забавляетесь!

Несколько раз, после уже, далеко от Москвы, опять пересекались жизненные линии Груни и Загряжского, однако встретиться опять не довелось, хотя и близко к тому было. Когда донесли ей, что взорван мост у Перелюба через Знаменку, донесли с подробностями, как он был взорван, сразу Груня поняла, чьих рук это дело. Занята она тогда была странно-непонятным, но почему-то ей казавшимся важным делом. Она изучала странную бумагу, будто бы вороной из Глубь-трясины принесенной. Так клялся и божился тот, кто доставил эту бумагу:

– К лапе привязана была, вместе с камнем упала. Гляжу – падает с вороны, с лап ее, а она, значит, из Глубь-трясины летит.

В бумаге значилось: «Товарищи, братцы, граждане, все коммунисты-большевики или сволочи-обманщики, или дураки обманутые, или ненормальные! Бейте сволочей, вразумляйте обманутых, это я говорю, Взвоеv, комиссаром я был – и будь оно проклято. Не послушаете – все пропадете и в ад будете. Пишу из Глубь-трясины, где монастырь теперь, а вы его не видите, потому что сволочам большевикам верите, а в Бога не верите. Смерть подлюкам большевикам. Взвоеv».

Очень внимательно Груня изучила документ. Взвоеva она знала, почерк на бумаге его был, знала, что пропал он, слышала и о том, как какой-то бешеный из его роты про монастырь в Глубь-трясине орал, который, кстати, тоже пропал. Очень скрупулезно она и это изучила, и доктора Долгова на допрос вызывала. Очень ей Долгов не понравился – все глаза прятал да от вопросов ускользал. И вот нате, пожалуйста, – мост взорван. Сориентировалась она сразу и как могла скоро оказалась в Болотной, уверена была, что если князь это, то обязательно по кратчайшему пути пойдет. Болотная открывалась сразу после выезда из леса, Груня выехала и увидела монастырь. Едва с коня не упала. Остановилась. Соратники никак в толк взять не могли, что случилось, а она не слышала их и не видела их.

Наконец конь сам тронулся с места и пошел в сторону деревни. Когда въехала в деревню, узнала, что «двою офицерев, как мамай, прокатились по деревне и в Глубь-трясину бросились, утопли».

– А зачем же они в Глубь-трясину, с ума, что ль, сошли? – злоехидно спросила Груня, на коне восседая.

– Да хрен их знает... а ты чо так зыркаешь-то, политотдел? Я ж не один видел, все видели.

Долго стояла она у края Глубь-трясины и глядела на монастырь, потом взяла бинокль и тут разглядела князя на стене. И когда обернулась к сопровождавшим соратникам, те аж отпрянули – столько всего было написано у нее на лице.

– Монастырь тут развели под боком... Проворонили!

Затем закрыла глаза, ее качнуло, и вот тут и начала она рваться в Глубь-трясину, орать бессвязное, угрожать, не поймешь кому. Оттого и не видела приближавшегося владыку Алексия, что загорожена была соратниками, вцепившимися в нее. И остолбенело замерла, как и соратники, когда архиепископ Алексий появился вдруг перед ними. Она не слышала ничего из того, что говорил владыко, она просто жадно разглядывала его лицо. Совершенно не имело значения, что он говорил, перед ней стояло невозможное, явившееся из невозможного, и само явление это делало лишними любые слова. И то, что давно владело Груниным «я», требовало немедленного уничтожения этого невозможного, но «я» было парализовано и немо. Наконец малая долька его оттаяла и обрела голос: что-то громкое и гневно-скрипучее отделилось от ее губ, она не слышала что, и поползло от нее концентрической оглоушивающей волной. Что-то еще в довесок дымно грохнули, архиерейские глаза и борода оказались совсем близко, но потом вдруг опять отдалились.

Когда удалось оторвать взгляд от парализующего архиерейского, проступил перед глазами какой-то солдатик, чего-то взыскивуще орущий. Вновь оттаяла долька и вновь отделила от губ оглоушивающую звуковую волну, вот и рука ожила, оказывается, маузер-то в руке! – пошла-полетела искорками от пальцев оживляющая энергия. Так это ж... под солдатиковой фуражкой – Федина морда! Глаза только не те – чумные, орать-то орет, а боится... На же тебе! И тебе, мразь бородатая!..

– За ноги и за руки его и – туда, на поляну! Ну!! Потом было объяснение с легендарным комдивом Кряком.

– Чего там происходит, Аграфена? – спросил Кряк. – Какого ты там попа шлепнула? О какомтаком монастыре болтать стали?

— И я тебя об этом, комдив, спросить хочу. Что за галлюцинации смрадные тут у вас?

— Ты — политотдел, о галлюцинациях тебе лучше знать. Галлюцинации — хрен с ними, мост вот проворонили, его на кого списать?

— Я мост проворонила, еще в ноябре семнадцатого проворонила, когда Загряжского упустила.

— Ладно, теперь вот думать надо, как из клещей его не выпустить.

— Это тебе думать. Кряк, с меня своих дум хватит. Из клещей он у тебя все равно уйдет, для того и мост взрывал.

— Не «у тебя», а «у нас», Аграфена. Так откуда у нас поп взялся? Архиерей даже, говорят?

— А из Глубь-трясины. Чего таращишься?

— Тоже галлюцинация?

— Ага.

— Чтоб ты из маузера да по галлюцинации?

— А моего маузера и галлюцинации боятся. Сниматься отсюда пора, чудит Глубь-трясина.

— Да уж приказ готов. Знаменку-то кавалерии вплавь придется одолевать.

— Небось не Волга.

— Дак бронепоезд и пушки, хоть и не Волга, на себе-то не переправишь, это тебе не в призраки поповские стрелять! Ладно, Бог даст, и в князя своего еще стрельнешь. Да ты дрожишь, я вижу, ладно, мне самому от этой Глубь-трясины тошно. Ну да в Севастополе отнежимся.

Корпусу сниматься — не шутки шутить, уйма дел политотделу, и Груня целиком окунулась в них.

Часть третья

ШТУРМ

Чувствуя, что сна нет совершенно, Дронов пошел на стену. Накрытый звездами и ночью, монастырь излучал в вышину дивную тишину, Дронов ее спиной чувствовал, она была ощутимо густая; казалось, что можно облокотиться на нее, как на стену, — и не упадешь. Накрытая теми же звездами и той же ночью деревня, куда смотрел Дронов, вся пребывала в движении.

— Не спится? — послышалось сзади.

— Вы, Иван Семеныч?

– Я. По-моему, никто не спит.

– Что это они там засутились?

– Кто ж их разберет, да и не все ли равно? Нас бы заметили – сутились бы не так. Звезды-то какие! Никогда таких не видал. – Я тоже. А вообще на небо часто смотрели?

– Вообще не смотрел, да и на все окружающее почти не смотрел. На жену не смотрел, своей жизнью жила, что хотела делала, умерла вдруг ни с того ни с сего, похоронил не жалея. Сын сам по себе рос, вот и вырос – он в Москве где-то сейчас, в ЧК служит.

– Где?!

– А почему вы удивляетесь, я же на брата вашего не удивляюсь. Мой сынок воевал вполне прилично, недалеко от меня, в прапорщиках. Ну а в марте солдатики революционные аж командиром полка выбрали; ну, командир полка из него как из меня кондитер, быстро проголосовали – с фронта долой, ну и вперед на Москву. Москву оказалось брать легче, чем Померанию, ну а дальше... дальше октябрь уж наступил, позвали в ЧК – согласился. Просто позвали, просто согласился. В жизни вообще все просто, если смотреть на нее просто. Сейчас поднимался сюда, мать отчего-то вспомнил, прямо вот увидел даже, скрюченную, согнутую, высокую, глаза то бегающие, то потухшие. Лет пять до кончины все такая была, а я изнывал и, как в «Онегине»:

...Вздыхал и думал про себя,

Когда же черт возьмет тебя. –

Она невыносима была, но ведь сын же я! Гадко. Давит на душу, а все остальное ушло. А? А у вас? Нет такого? Все все равно...

Дронов молча пожал плечами, но видеть пожатие было невозможно. А полковник продолжал:

– И даже Оля-маленькая волновать перестала. Всю всенощную с ума сходил, молитва на ум не шла – как они там, прорвались ли, доехали? И – как отрубило вдруг, пустота какая-то и тревога. А ночь-то какая, Александр Дмитрич. Ведь чернота одна и звезды в вышине, а... сколько этого всего, оказывается.

Справа чиркнуло, вспыхнул огонек, Дронов и полковник повернули головы и увидели прикуривающего поэта. Огонек погас и во тьме раздался его голос:

– Да, чудная, прекрасная, единственная ночь, черт бы ее драл, а – тоска. Отчего так, господа вояки?

– Мы здесь такие же вояки, какой вы здесь – поэт, – сказал полковник.

– Ха! Ха-ха-ха... а ведь правда! Ничего на ум нейдет. Был поэт и весь вышел. Моя ночь, моя погода, все мое, как распирало меня по таким ночам! На воздухе стоял... двести строк за такую ночь прилетало, и нате вам, пожалуйста, – чернота на душе, как тьма вот эта; Я вот думал все это время, что это такое, когда вот так, по двести строк, – дар или проклятие? Ведь как на бумагу их перелагать начнешь – корпеть начинаешь, вот воистину проклятие, или... образ схватишь... летает рядом, а не идет, и убить всякого готов, кто мешает, потом любуешься и – не то... нет, все-таки проклятие. Что вздыхаете, господа вояки? «Нам бы его заботы», – да? Ну да, животы штыком вспарывать, шашкой головы отсекать – это заботы.

– Не задирайтесь, господин Константин, – равнодушно сказал полковник. – Совсем не о том я вздыхал. Сам не знаю о чем. Обо всем и ни о чем. Не нужны никакие заботы, ни мне ваши, ни вам мои.

– Суёта суёт и томление духа?

– А разве не так? Разве ночь эта не говорит вам, что это так? Не только вам ничего на ум нейдет. А дар Божий не может быть проклятием, никак не может. Дар слова и – проклятие? Нет, никогда не поверю. Но и – «за каждое праздное слово дадите ответ в день Страшного суда...» Вот это страшно. И каждый из нас знает, что праздно сказано, а что нет, себя не обманешь. Я не про вас, у меня этих праздных побольше вашего было, хоть и не на всю Россию.

– Господи, как хорошо, что нету у меня ни даров, ни проклятий, – тихо сказал Дронов.

– Дары у всех есть, Александр Дмитрич, – раздался слева из темноты голос Оли-большой. – Только мы дары в проклятия обращаем.

– Я приветствую вас, Оля-единственная, рад слышать и ваш голос и то, что у меня дары есть. Давно вы здесь?

– Раньше всех. Я думаю, все сейчас на стене.

– Что так?

– Потому что эта ночь последняя.

– Это почему ж? – голос поэта из тьмы звучал весьма испуганно.

– Не знаю, так мне кажется. И думаю, не только мне.

– А мне совсем не кажется, – горячо-протестующе теперь звучало из тьмы поэтовым голосом. – С чего бы! Ведь на всенощной старец был и был бодр.

– Да ведь вас не было.

– А все равно знаю! Ужасно хочется жить в такую ночь, Ольга Пална.

– Жить хочется и в ненастье, господин поэт.

– Иван Иларионыч! Где вы?

– Как всегда, рядом с вами.

– Еще одна прелесть этой ночи, господа. Здесь и вправду сейчас все, наверное, и мы все рядом и не видим друг друга. Тьма, и голоса наши – из тьмы. Очаровательно! Такая ночь не может быть последней, не должна быть. Я не хочу, чтоб она была последней, я хочу жить!

– Да! – рявкнуло вдруг из тьмы голосом профессора. Все вздрогнули и поначалу не поняли, откуда прозвучало, казалось откуда-то сверху. – Да, да, да! И пусть Он есть, этот ваш трижды проклятый Бог... – видимо, профессор говорил и ходил. – Зачем было спасать меня и заточать в этот монастырь, чтобы через месяц те же головорезы убивали меня опять?! И будь оно трижды неладно тогда, это мое спасение, слышите меня, полковник?

– Слыши. Назад отнести?

– Да я теперь сам дойду!

– Дойдите, – перебил голос Ивана Иларионыча, – дойдите и про нас скажите, здесь, мол, сидят, голубчики.

– Опять вы! – Так прозвучало, что Дронов невольно улыбнулся.

Возник голос Взвоева:

– Эх, господа-граждане российские, да ну что ж вы так, едри вашу мать... Слушаю я вас... слава Те, Господи, что хоть сейчас не вижу... да ну что ж такое... и... ведь хорошие ж вы люди, а... эх, язык бы мне ваш... все-то вы... все-то мысли у вас порознь, все что-то говорите, и умное вроде, а иной раз вот я думаю, думаю, башку сломаешь! – а так и не вразумишься, о чем вы говорите, зачем? Понавыдумывали вы всякого – и умно вроде, а как подумаешь – такая параша! И чего хотите – не поймешь. Куда вам против Кряка, да Аграфены, да меня тогдашнего! Эх, Господи, помилуй. Думаю, князь Иван по ночам плачет – за что и для ради кого дерется он... Вот одолей он Кряка, да Аграфену, да возьми Москву, а вы ж потом на него и наброситесь: зачем бил, зачем спасал! Прости, Иван Семеныч, ежели тебя задел.

– Да не задел, а прямо в глаз, чего там. Да и ладно, в такую ночь зачем они, глаза. А вообще-то... странно, действительно, удивительная ночь, ни зги не видно, а именно глазами, видением чего-то наслаждаешься.

– Ты наслаждаешься, Иван Семеныч?

– Да, комиссар.

– Слу-ушай, Христом Богом прошу – не зови так.

– Прости, Иван.

– Очаровательно! – опять заговорил профессор. – Новый оппонент? Пре-е-красно, особенно аргументы очаровательны, я вот тоже «башку», простите, ломаю, господин новый оппонент, и в толк не возьму – о чем вы? А? Отзовитесь же...

Молчание.

– Скажи ему что-нибудь, Иван.

– Да ну его, ничего я ему не скажу.

– О! Благодарю вас, господин новый оппонент, этим вы все сказали. Ну так вы мне ответьте, господа старые оппоненты, зачем была игра эта с оттяжкой нашей гибели, которая, по вашим же пещерным аргументам, все равно неизбежна?! Шутить изволит Господь Бог? Или что там... плод воображения сотен поколений, как изволит выражаться наш товарищ министра исповеданий, бывший синодал уважаемый, союзничек дорогой... Анатолий Федорыч, вы здесь? Отзовитесь.

– Ну здесь, что вам угодно? – Стукнулись вы лбом об пол перед лицом Христовым, как хотели?

– А что вам до того?

– Ну, должно быть, разъяснили вам за это свыше, для чего сия комедия оттяжки?

– Да вам-то зачем знать? Вы скажите - что вам охота услышать, я и отвечу так.

– А на самом деле как?

– Однако очень живописно вы вопрошаете, будто и голос не ваш. Не знаю я, как на самом деле, а я думаю вот что: оттяжка, говорите? Да вся жизнь от самого рождения есть оттяжка смерти. И какая разница, сколько она длится, – семьдесят лет или месяц, если в конце все равно смерть? И нам всегда хочется, чтоб она побольше была. Так что даже если оттяжка вам просто так дана, чтоб подышать подольше, что в этом плохого и почему это насмешка? Значит, и вся жизнь ваша насмешка.

Отозвалась Оля-большая:

– Да, она и есть насмешка, если после смерти смерть, а не жизнь вечная. Действительно, не жизнь, а оттяжка смерти.

– Я не о том, Ольга Пална, я вот о чем... Вы слушаете меня, профессор?

– Да слушаю, слушаю, вот только не слышу ничего.

– Да, видно, и не услышите, мы все глухи к тому, что нам не нужно, независимо от того, сколько логики в его звучании. Но вот вдруг видишь чепуху,

вроде малозначущую, эмоции, так сказать, одни, и вот гложет отчего-то чепуха, жить спокойно не дает... нет, ничего я не скажу вам, раздумал...

— Ха-ха-ха, вот так раз! Ну так и молчите тогда, господа старые и новые оппоненты!

Резко вдруг расхотелось Анатолию Федорычу вообще что-либо говорить, а сказать он хотел о Взвоеве — не выходила из его головы картина кающегося комиссара. Анатолий Федорыч уверен был, с тех пор как увидал здесь Взвоева, что тот нелукавый, бесхитростный человек, живущий только для великого доброго дела, в его, естественно, понимании величия и доброты. Творение коммунизма есть величайшее добро, и все 'несогласные есть враги добра — и набить их трупами Митрофаньевский монастырь есть акт добра. И не было силы в мире, способной поколебать такое взвоевское понимание. Но такая сила нашлась, ею оказались камни монастыря в Глубь-трясине, которые трясущимися руками, с сумасшедшим взглядом ощупывал Взвоев. Анатолий Федорыч весь день тогда за ним наблюдал, тогда он не сидел в затворе, после того дня перестал он выходить. А Митрофаньевский монастырь после временного ухода большевиков Анатолий Федорыч видел своими глазами. К самому монастырю не подходил, остался у черной дороги к нему — остановился, не пошел дальше, созерцания черной дороги хватило. Черной она сделалась от запекшейся крови, стекавшей с убитых, которых волоком волокли в монастырь: метра два шириной, метров сорок длиной, ровная, сплошь черная, без пятен полоса до монастырских ворот.

Но Взвоев не видел черной дороги, не видел распахнутых ворот, он и деревни не видел, он стоял с закрытыми глазами и испытывал холодящий страх — ему вдруг показалось, что он не может быть прощен. Шепотом сказал в черноту:

— Иван Семеныч, ты не здесь?

— Я, Иван.

— Слу-у-шай, мне чего-то тошно вдруг стало. Да разве ж можно простить меня?

— Думаю... людям нельзя, Иван, невозможно простить, люди не простят. Да ведь не от людей же мы прощения ждем.

— И мне тошно отчего-то. И вроде ночь чудная, а вот... Сам не пойму, — услышал Взвоев голос и не узнал чей.

— Кто здесь? — немного даже испуганно спросил Взвоев.

— Дронов.

— Кто?! Ох... ты, что ль, поручик?

— Я.

– Ну и... голос у тебя – не отключишь от братана твоего. Аж дых закрыло.

– А мне так за всю жизнь и не сказал никто: «Я люблю тебя», – проговорил вдруг Дронов задумчивым голосом.

Отозвался поэт:

– Эх, господин поручик, нашли о чем горевать. Мне это говорили тыщу раз, а уж я-то... И что? Чепуха все это. Вот думаю, явятся мне все бабы, что слышали это от меня, – никакого Страшного суда не надо. Чувствую, Ольга Пална сейчас скажет – а это и будет ваш Страшный суд. Да? И, мол, «за каждое праздное слово дадите ответ». Да в том-то и штука, что не праздно я говорил их, когда говорил, клянусь. Ага... Опять нарушил: «Не клянитесь вовсе», да?

– Да, господин поэт, – сказала Оля-большая.

– Ну вы прям кремень, камень веры!

– А вы прямо болтун.

– Ха-ха, вот и сорвались.

– Довольны?

– Доволен, а что ж, один я только с праздnymito словами... Нет, такая ночь не может быть последней.

– А какой должна быть последняя ночь?

– А – никакой! Не должно ее быть!

– Нет, она должна быть, – сказал Дронов. – И это она и есть.

Сейчас Дронову это показалось столь же очевидным, сколь реальной была стена, на которой он стоял и созерцал черноту, и сказанные им только что слова, как бы помимо воли выскошившие, укрепили эту очевидность еще более. И понял, отчего тошно ему, – и не только оттого, что это последняя его ночь на земле, – образ чарующей, обнявшей мир тьмы вдруг почувствовался как образ той тьмы кромешной, где вот так же будут рядом с тобой многие, а никого не увидишь больше и не услышишь, как слышишь здесь. И ни до кого и ни до чего тебе будет, само слово – «кромешность» – ожило вдруг какой-то холодящей, омертвляющей жизнью и стало заполнять всю окружающую тьму.

– Мир всем, – раздался среди наступившей тишины голос старца Спиридона.

– Стойте, стойте как стояли. Поговорим в тишине в последний раз. Мученика нашего мы только что погребли. Торопиться надо, ухожу я.

– Что? Куда?! – вскинулось сразу несколько голосов из тьмы.

– Туда. Откуда нет возврата. Открылось мне, что умру я сейчас. Вот проститься пришел.

– А монастырь? – воскликнул поэт. – А мы?!

– Как Бог даст. Милостив Он, устроит все. Во тьме, значит, прощаемся, так угодно Ему, значит. Ни я вас больше не увижу, ни вы меня.

– А... а как же... хоронить вас когда?

– Об этом не беспокойтесь, устроится все, о себе думайте.

– Да что ж думать? – опять спросил голос поэта. Обидой, страхом и возмущением наполнен был его голос.

– Кто думает уходить отсюда, уходите сейчас.

– Да куда ж уходить?

– В деревне у них сейчас забот полон рот, просочитесь. Или через лес. Остальные – оставайтесь с Богом.

Дронов подал голос:

– Батюшка, так мы перестанем быть невидимками?

– Не ведаю того, тут уж как Бог даст.

– Ну а на штурм пойдут, что делать?

– Сами увидите, молитесь, деточки мои, и все устроится ко спасению вашему. Груз свой тощий на вас перекладаю, донесите со смирением. Молиться буду за вас, пока дышу, чтоб чудо одно великое евангельское с вами было до освобождения. А освобождение наше есть смерть, которой никому не миновать, ни дураку, ни умному, ни бедному, ни богатому, всяк все здесь оставит – и дурь, и ум, и бедность, и богатство. Гляньте во тьму эту – все здесь оно, что все умершие остали, – темно, незримо, нечувствительно и страшно. Скоро и нашего сюда добавится. А чудо великое евангельское – это лик Христов. Помните, подвели к Спасителю прелюбодейку? А кто привел? Ох, вижу прямо этих порождений ехидны, одно только на уме – уличить, обличить, на слове поймать любой ценой Спасителя. Чем пронять их, что могло смутить их-не было такой силы на земле, чтоб злобную их ненависть-увертильность сломить. И вот – «Кто без греха, первый брось камень». Ну? Да чего ж не бросить-то, да кто ж в такую минуту в грехах своих копаться станет? Да вообще, что такое слово любое против задуманного ими – да тыфу, подымай и бросай, забивай до смерти прелюбодейку – и вот уже и грош цена всем словам Проповедника после этого. Ну, бросайте. И взгляд Христов на всех сразу. Да-да, на всех сразу, иначе кто-нибудь да бросил бы. Всего лишь взгляд, который ни в тюрьму не заточит, не убьет, – ну!.. И порождения ехидны уходят! Потом небось локти кусали – что за наваждение такое... Вот, деточки мои, дай вам Господь видеть взгляд сей пред собой до самого освобождения. Всех

благословляю. И да будет всем нам не по вере и по делам, но да будут милости Его на всех нас.

Когда прошло время оцепенелой тишины и отовсюду послышались возгласы, зовущие старца, ответом была все та же тишина, не было старца на стене. Уж не причудились ли слова его, не тьма ли подшутила? Меж тем что-то изменилось в окружающей черноте. Дронов вздохнул глубоко и почувствовал запах болота.

А из монастырской калитки, что рядом с воротами, выходили спешно двое – обожженный и вслед за ним профессор.

– А ты куда? – спросил недоброжелательно обожженный и остановился.

– Туда же, куда и вы. Собственно, я не предполагал, что еще кто-нибудь. Я думал, я один. Поэт подергался, да и остался. А про вас я и подумать не мог. Как же вы-то от Бога дезертируете?

– Я-то? Как же? А вот так же! Жить хочу! Авось прорвусь. А ты-то как будешь? Я-то и проползу, и на дерево могу, и в зубы дать могу.

– Ну, ползти и я смогу.

– Гляди-ка, под ногами вроде хлюпает. Давайка прибавим, кто его тут знает...

Обожженный опять остановился и обернулся. Из таявшей тьмы проступали контуры монастыря. Чернота блекла, становилась жиже, обращаясь в серую пелену.

– Вот по этой самой дороженьке туда шел, комиссара на себе нес... нет, здесь он уже сам шел. Эх, пошли, профессор.

– Что, перейден Рубикон?

– Чего?

– Я говорю, решились вы, наконец?

– Я?!

– Вы.

– Решился. Хрен с тобой, обои пойдем. Шлепнут – так двоих, не обидно.

Перед отходом корпуса прежде всего надо было дать разгон кому следовало за потерянный мост, заодно и пару списков расстрельных по этому делу подписать. Затем довести до сознания всех соединений, частей и подразделений, до каждого бойца довести важность предстоящей операции, в успех которой Груня, правда, совершенно не верила: полк Загряжского – особый полк, одно офицерье, даже пятнадцать штук полковников в ранге рядовых, все добровольцы, командира

своего богочестия, на все готовы и многое могут. Лишить беляков такой боевой единицы – фактически полвойны выиграть, вот что должен был понять каждый боец. Разговаривая с людьми, подписывая бумаги, Аграфена ухитрялась посматривать на телефониста у стены, что к резервному тыловому телефону прилип.

– Чего-чего? – переспрашивал телефонист. – Какие двое, какой монастырь, повторите.

Груня подняла голову, отстранилась от всего. Очередной подошедший не исчез, а так и остался стоять со своей бумажкой.

– Что там?

– Да вот, хрен поймешь...

– Трубку дай.

Долго слушала, не перебивала. Привела дыхание в порядок, спокойно сказала:

– Хоть батальон еще в Болотной остался? Штурмуйте. В случае неудачи применить артиллерию, свяжитесь с Перелюбом, пусть оттуда из тяжелых трахнут. Чтоб камня на камне... Откуда взялся? Это я вас спрошу, откуда он взялся! Это вы мне ответите, все ответите! Что? Ни в коем случае, шлепнуть всегда успеете. До меня держать, охранять, пылинки сдувать, ни о чем не спрашивать, я сама допрошу. – Спохватилась: – Да! Спроси у них – Загряжский там или ушел?.. Угу, я так и думала. Ну, все понял? Действуй.

Дронов стоял на стене и не видел, и не слышал ничего, что творилось кругом, – он вновь испытывал на себе тот ветер, что сам же окрестил ветром из Царства Небесного. Но в этом ветре присутствовало и другое, и он сразу понял, что это – страх. Не страх потери, что ветер иссякнет, не страх перед тьмой кромешной, только что улетевший, а тот страх Господень, который не только чувствуется, но и понимается. И страх этот не что иное, как уверенность, что Он, твой Творец, есть на самом деле, что Он видит, слышит и чувствует тебя и в руке Его миллиарды ниточек незримых, к каждой твоей жизненной клетке протянутых. И трепет во всем теле и на душе от такой ощущимости, трепет совершенно особый, словами не выговариваемый, ибо никогда ранее уверенности такой, что есть Он, прямого Его чувствования и в помине не было. И еще на трепет наложилось совершенно необыкновенное и страшное – ощущение необъятного, невозможного всемогущества слова своего, еще мгновение назад обыкновенного своего слова, воздух колеблющего. И не только могущества слова, но вздоха даже, мысли обыкновенной. Ему вдруг показалось, что произнеси он сейчас: «Перенесись, монастырь, вместе со всеми нами в Константинополь» – и станет так, перенесется. В этом была абсолютная уверенность, такая же, как то, что в руке Его миллиарды

нитей жизни, к твоим жизненным клеткам протянутые. Теперь он видел и понимал, как Петр, через борт лодки перевалившись, пошел по водам и не тонул. Распирало Дронова от ветвей проросшего горчичного зерна... И вдруг навалилось: волны кругом, бездна под ногами, ветер, пылью водяной бьющий. И Его нету – ни рядом, ни вдали. Один ты над бездной и сейчас она поглотит тебя.

– Утопаю, Господи, помоги!..

И вдруг увиделось: он, семилетний, стоит перед матерью, опустив голову, с зажиленным потным пятаком в ладони, мается обличенный, – когда нудить кончит и отпустит (это про мать)? Только что причаствившийся, он при выходе из храма получил от матери пятак на милостыню. Но не отдал его нищему, решил на леденцы потратить, а соврал, что отдал, да еще с цветистыми подробностями нищего обрисовал. Но вот всплыло, и он держит ответ перед раздосадованной матерью, то бишь молчит, мается, вздыхает. Вспоминалась эта картинка несколько раз потом для того только, чтобы со смехом в разговор какой вставить. И вот до деталей теперь видится, стоит выпукло перед глазами, и не раздосадованность, а горе великое во всем облике матери. И горе это, во сто крат сильнейшее, как свое сейчас переживается. Зерном гнилым проросшим жило полузабытое в душе, и вот вырвано с корнями, выдую ветром Царства Небесного, развернулось в картину выпуклую, ударило горем-болью, вновь до зерна скжаслось и закружилось, замелькало вокруг головы. И пошло вырывать, выдувать тем ветром застрявшие гнилые зерна, все до единого выдулись, все сделанное и задуманное, все то даже, что чуть проклонулось только, все химеры, грезы и мечты, хоть раз тенью сознание потревожившие, вздохи завистливые, взгляды похотливые, все до единого слова оброненные, все желания забытые – все вырвалось, все болью ударило и в картины жуткие развернулось и закружилось черным облаком, мир собой заслонив. А душа осталась голой, израненной и пустой. И именно оно, облако это, кляпом затыкало могущественное животворящее слово. И глаза, готовые узреть уже суть вещей, видели лишь мельтешение черноты кромешной. И самое страшное – то горе-боль, что в душу ударяло, от каждой картинки развернутой, через нити живые шло в вышину небесную и там, еще во сто крат усиленное, терзало Держащего нити и Дарующего жизнь. И не только от него, Дронова, шло к Держащему терзающее горе-боль, но и от сотен миллионов таких же, как он, вокруг которых кружились такие же черные, греховные облака. Не умирает содеянное нами, не умирает со смертью нашей, а усиливает собой кромешность, которая поглощает новых живых и терзает горем-болью небеса. И масштаб долготерпения и страдания Держащего нити и Дарующего жизнь только вот сейчас осознался Дроновым. Да ведь это страдания Живого Существа, в миллины раз более ранимого, чем все живущие! – до чего же ясно это вдруг увиделось – понялось.

Удушающий спазм сдавил горло, из глаз хлынули слезы, никогда ранее не бывалые слезы, слезы, заживляющие раны от вырванных ядовитых зерен. Только одно есть в мире, только одно видно: крутеж облака окаянного черного и картин страшных развернутых, ничего больше нет – ни России, делимой ли, не делимой, демократической, большевистской, ни людей, за эту Россию и весь мир сцепившихся, ни янтарных полей с тучными злаками, ни мертвых полей сражений с трупами, вообще ничего. Только одно имеет значение – предназначеннная тебе вечность, и нет к ней дороги, закрыта она черным облаком и развернутыми страшными картинами – и никак не уничтожить облако своей волей, родить его – раз плонуть, а уничтожить одна возможность – вот сейчас только, когда увиделось оно, когда ужасом проняло, завопить к Держащему нити жизни: «Совлеки с меня окаянство мое! Дай зрение глазам моим слепым, очисти путь в вечность Твою, прости меня за гвозди те, что всю жизнь вбивал в крест Твой!..»

И понесся вопль его к небу, а слезы, камень прожигающие, – к земле. И прояснилось в облаке, слово его опять обрело ту мощь, что почувствовал он вместе с первым дуновением того ветра... И вместе с тем какая горечь! какая тяжесть! страх какой! что один ты такой на земле, породивший это поганое облако, один ты сгинешь в кромешности и не спасешься, у других хоть каплей доброго разбавлено облако, а у тебя – ничего! Только в милости Дарующего твое спасение.

»Так вот он, значит, какой груз тощий старца Спиридона, малая доля которого легла теперь на твои плечи», – вместе с мыслью этой отделилось от Дронова слово могучее, непроизнесенное, и полетело вдоль стены укрепляющей силой, и понял сразу Дронов, что недолго выдержать ему эту малую толикующего груза старца Спиридона, его силы таяли с каждым мгновением, как и всех остальных на стене, тоже пробирающихся сквозь облака свои черные к предназначеннной вечности.

Прямо над воротами стояла на коленях, закрыв ладонями лицо, Оля-большая и просто плакала. Анатолий Федорыч, с опущенной головой, каменно-застывший, видел перед собой черную дорогу – вся чернота ее поднялась вдруг над землей, обнажив молодую зеленую травку, и повисла ровной лентой на метровой высоте над ней. Лента съежилась в ком и разорвалась на множество капель, уже красных, они ринулись к Анатолию Федорычу, налетели на его черное облако, в облаке прояснилось и сквозь размытость в черноте хлынули струи света призывающего – последний призыв подставить всего себя под эти струи, глянуть и увидеть не плод воображения сотен миллионов, а Того Единственного, Кого и должны видеть зрячие глаза. А под стеной, почти голова к голове, лежали сраженные винтовочными пулями Взвоев и поэт. Взвоев был уже мертв, открытые глаза его обращены были к небу, и окажись здесь товарищ Аграфена, она бы не пожалела на них обоймы, ибо увидела бы в них то же, что и в глазах убитого ею Феди. Поэт был

еще жив и видел перед собой в вышине золотой крест Успенского собора, и последние ясные мысли уходящей его жизни говорили ему, что Тот, Кто высечен на кресте, любит его и все простили.

И штурмующих видел Дронов, и сквозь скорби и вопли о главном – о себе – звучало в его взывании к небу и о них. Не хотел он им сейчас той смерти, что таилась в черном кружении зерен греха.

Никто на стене и не думал противиться штурмующим, но вдруг застопорился штурм. С воплями, с перекошенными от страха лицами, понеслись они назад по хлюпающему болоту – по колено было уже. Дронов знал, что они увидели, будто распахнулись монастырские ворота и лавина конницы вылилась наружу и помчалась, шашки наголо, на штурмующих. И пули не берут. Так бежали назад штурмующие, что конница только на краю хлюпающего болота настигла их. И пошла рубиловка. Отчаянно дрались штурмующие. Дронов видел, как остервенело стреляли они друг в друга, как рубили друг друга штурмующие, гоняясь за призраками и уворачиваясь от них. Не знал он только, что в это время комбат их тряс за грудки обожженного и, бешено крича, махал перед ним револьвером. А тот орал, упав на колени: «Да какая конница, сбрендили вы?! Старики там, да бабы, да поручик один!»

– Иди глянь, гадюка, какие бабы, – орал в ответ комбат, – иди глянь, сколько наших полегло! Ух, не прикажи Аграфена, я б тебя...

Потоптать потоптал-таки комбат обожженного, хотя и не убил.

Наконец кончилась рубиловка. И всадники исчезли, видать, обратно откатились, и убитых их почему-то нет, стреляли-стреляли, рубили-рубили, а вот – нет. Но раздумывать некогда было, кончать надо было, приказ товарищ Аграфены – не шутка. Решили одновременно и из пушек стрелять и штурмовать. Оно, правда, своих задеть можно, да что за беда, беда, если приказ товарищ Аграфены не выполнишь.

Силы ощутимо покидали Дронова. Он увидел, что опять пошли на штурм. Теперь именно пошли, уже почти по брюхо воды. Пошли радостно – теперь коннице делать нечего на такой-то воде, хоть сколько ее там за стенами – теперь не страшно. Ахнуло сзади разрывами, мимо Дронова просвистели осколки кирпичей и плюхнулись в болото. Вот разворотило ворота, с грохотом разлетелся большой купол Успенского собора, а его крест, кувыркаясь, полетел по огромной дуге за стену. На высшей точке подъема он перестал кувыркаться и со свистом начал падать прямо на ораву штурмующих, которые уже плыли, а кое-где и плыть уже было тяжко – вязнуть начали. С криками, заметив опасность, группа штурмующих пыталась увернуться, однако поздно – гулко хлюпнув, накрыл их всех золотой огромный крест. А разрывы учащались. Все горело и дымилось. Сильно грохнуло

сзади, Дронова толкнуло в спину и он полетел вниз. Больно ударился о воду и с трудом выплыл. Засасывающая густота поднималась неотвратимо из недр, ноги уже опасно было опускать. Внутренне усмехнулся поручик этому «опасно» – ведь обрывок времени всего лишь остался... И тут увидел Дронов прямо перед собой яростно сосредоточенную физиономию штурмующего. Скрепя зубами, матерясь, он лез из трясины в жизнь и тянул руки к спасительному выступу в стене. Пальцы его были растопыренными, напряженными, Дронову они показались когтями. Ему представилось, как этот будет тянуть их потом к очередной Оле-маленькой или еще к кому-нибудь или чему-нибудь дорогому для Дронова. И как только представилось, захлестнула сразу разум волна воинственной ненависти, и он исступленно рванулся к штурмующему. Мирная, успокоенная душа, тихо ждавшая вечности, была врасплох застигнута нежданной волной, не успела остановить взметнувшейся к горлу утопающего руки. Сейчас голова утопающего будет вдавлена в воду, мелькнут вытаращенные глаза, хлюпнет – и все. И вдруг вместо вытаращенных на яростном грязном лице он увидел те глаза, глаза чуда евангельского, говорящие: «Кто без греха...» И сразу опомнился. Был у утопающего последний обрывок времени, последний шанс, нити живые еще держал Держащий и ждал, как всех ждет. И он, Дронов, не отнял этот шанс. Лег на спину, прошептал: «Господи, прости». Увидел, как взрывом оторвало громадный кусок стены и тот начал падать на него. Возвзвал страшно: «Господи, прости!» – и в то мгновение, что оставалось до низвержения на него плиты, закрывшей уже собой весь мир, успел ощутить возврат мира и спокойствия в душу, ждущую предопределенной Замыслом вечности.

Полк выходил из клещей. Когда это стало совершенно ясно, Загряжский и за ним Безобразов поскакали на своих конях назад по знакомой дороге, как ни удерживали их все в штабе. Выехав из Большого бора, они остановились. Перед ними расстипалось бескрайнее море – болото, накрытое шапкой бледно-зеленых испарений. И больше ничего. А по другую сторону, на краю опустевшей деревни, стояла товарищ Аграфена и так же молча взирала на мертвый покой Глубь-трясины.